

ОРХАН ПАМУК

МЕНЯ ЗОВУТ КРАСНЫЙ

РОМАН

Перевод с турецкого Веры Феоновой

Посвящается Рюйе

И вот вы убили душу и препирались о ней.

Коран, сура «Корова», аят¹ 72

Не сравнится слепой и зрячий.

Коран, сура «Ангелы», аят 19

Аллаху принадлежит и восток, и запад.

Коран, сура «Корова», аят 115

Я – МЕРТВЫЙ

Я – мертвый, я – труп на дне колодца. Я давно перестал дышать, у меня остановилось сердце, но никто – кроме подлого убийцы – не знает, что со мной произошло. Этот негодяй, желая убедиться, что я мертв, слушал мое дыхание, щупал пульс, а потом пнул ногой в бок, отнес к колодцу и сбросил в него. Мой череп при падении треснул, лицо расплющилось, кости переломались, рот наполнился кровью.

Я ушел из дома четыре дня назад: жена и дети, наверное, ждут меня, а дочь все глаза проплакала, глядя на калитку.

А может, не ждут? Может, смирились с тем, что меня нет? Это было бы плохо. Что такое жизнь?

Она существовала очень долгое время до моего рождения и после моей смерти будет длиться бесконечно! Пока я был жив, я никогда не думал об этом; просто жил от рассвета до заката, пока не становилось темно.

1. Стих Корана. (Здесь и далее - прим. перев.)

Пожалуй, я был счастлив, да, похоже, был счастлив; это я теперь понимаю: ведь я делал лучшие заставки, в мастерской нашего падишаха нет художника, который хотя бы приближался ко мне по мастерству. И на стороне я подрабатывал в месяц по девятьсот ачка¹ Такое благополучие заставляет еще больше пожалеть о моей смерти.

В мастерской я рисовал заставки и покрывал их позолотой; а еще я раскрашивал листья, ветки, розы, другие цветы, птиц, кудрявые облака в китайском стиле, переплетающийся кустарник и притаившихся в нем газелей, а также галеры, падишахов, деревья, дворцы, охотников. Прежде я иногда расписывал тарелки, рамы для зеркал, ложки, потолки в виллах на Босфоре, сундуки. Но в последнее время занимался только книгой, потому что наш падишах щедро платил за эту работу. Не могу сказать, что, встретившись со смертью, я осознал ничтожное место денег в жизни. Человек, даже если он умер, понимает, как важны деньги для живых.

Догадываюсь, о чем вы думаете, если слышите сейчас мой голос: да брось ты считать, сколько зарабатывал. Лучше расскажи, что увидел там? Что происходит после смерти, где твоя душа, какой рай и ад? Что такое смерть, страдает ли твоя душа? Вы правы. Я знаю: всем интересно – что там, в ином мире? Когда-то я слышал рассказ о человеке. Который из любопытства отправлялся на поле битвы и расхаживал там между трупами. Он надеялся встретить кого-нибудь, ожившего После гибели, чтобы узнать от него тайны иного мира. Воины Тимура Приняли этого человека за врага и рассекли надвое саблей; он решил, что в ином мире человек делится на две половины.

Но ничего такого нет. Напротив, раздвоенные на земле, здесь души воссоединяются. Вопреки утверждениям гяуров², безбожников и соблазненных сатаной богохульников, иной мир, слава Всевышнему, существует. Подтверждение тому – мое обращение к вам оттуда. Я умер, но, как видите, не исчез. Хотя должен сказать, что я не встретил здесь упомянутых в Коране серебряных райских дворцов, не увидел деревьев с большими листьями и спелыми плодами и прекрасных девственниц. Помню, как часто и с каким удовольствием я рисовал гурий с большими глазами, изображая происходящее в раю. Не/встретил я и четырех рек из молока, вина, сладкой воды и меда, описанных если не в Коране, то вечными мечтателями, такими, как Ибн аль-Араби³.

1. Старинная мелкая монета.

2. Гяур – презрительное название иноверцев у мусульман.

3. Ибн аль-Араби (1165—1240) – арабский поэт и философ.

Короче: я, всем известный художник Зариф-эфенди, умер, но не был похоронен. Поэтому моя душа все еще со мной. Чтобы она могла приблизиться к раю или аду – куда уж предназначено, она должна вырваться из моего брэнного тела.

Пусть поскорее обнаружат мой труп, совершат намаз и наконец похоронят меня! Но еще важнее: пусть найдут моего убийцу! Хочу, чтобы вы знали: даже если меня похоронят на самом пышном кладбище, пока не найдут убийцу, я буду беспокойно ворочаться в могиле. Найдите это чудовище, и тогда я буду рассказывать вам подробно обо всем, что увижу в загробном мире.

Выясните, кто и почему вдруг убил меня так? Вы скажете: в мире полно подлых убийц, и какая разница, раз я мертв. Но дело в том, что за моей смертью кроется опасная угроза для нашей религии, традиций, образа мысли. Вы верите в ислам. Так подумайте, почему враги ислама убили меня? Докопайтесь до истины, ведь они могут убить и вас. Сбывается все, о чем говорил проповедник Нусрет Ходжа из Эр-зурума¹, слова которого я слушал со слезами на глазах. И еще хочу сказать: если будет написана книга обо всем, что происходит с нами, никогда ни один даже самый талантливый художник не сумеет ее проиллюстрировать. Так же как – только не поймите меня неправильно! – Коран, Великая сила такой книги будет исходить из этой невозможности нарисовать к ней картинки. Хотя сомневаюсь, что вы сумеете это понять.

МЕНЯ ЗОВУТ КАРА²

После двенадцати лет странствий я вернулся в Стамбул, город, где родился и вырос. Говорят, мертвых призывает земля, меня же призвала смерть. Я направлялся в город, думая только о смерти, но встретился с любовью. Когда я приехал в Стамбул, любовь казалась такой же далекой и забытой, как мои воспоминания о городе. Двенадцать лет назад в Стамбуле я влюбился в девочку, дочку моей тети.

Года через четыре после того, как я, покинув Стамбул, собирал налоги, доставлял письма, бродя по нескончаемым степям, заснеженным горам и невеселым городам страны персов, я понял, что начинаю забывать лицо любимой девочки, оставшейся в Стамбуле.

1. Эрзурум – город в Турции.

2. Имя не склоняется.

Я силился вспомнить его, но в конце концов смирился: сколько бы ты ни любил, лицо, которое не видишь, постепенно забывается. Когда через двенадцать лет, уже в тридцать шесть, я вернулся в свой город, я понимал, что любимое лицо забыто окончательно.

Из письма мужа тети, полученного мною в Тебризе¹, я узнал некоторые новости о родственниках. Дядя звал меня в Стамбул, он написал, что готовит тайную книгу для нашего падишаха и ему нужна моя помощь. Он слышал, что в Тебризе я занимался изготовлением книг для османских пашей, губернаторов и других заказчиков из Стамбула. Действительно, я принимал заказы, сразу брал с заказчиков деньги, разыскивал известных мастеров, каллиграфов и иллюстраторов, которые не смогли уйти в Казвин² или другие персидские города и страдали от войны, османских солдат, безденежья и одиночества; они писали тексты, иллюстрировали, переплетали книги, и я отсылал их в Стамбул. Если бы когда-то муж тети не привил мне любовь к красивой книге, я ни за что не стал бы заниматься этим делом.

Некоторые кварталы и улицы, по которым я ходил в юности, за двенадцать лет превратились в пустыри, где бегали стаи бродячих собак, но, с Другой стороны, в городе были построены богатые дома, поражавшие роскошью приехавших издалека, таких, как я: в окнах – дорогие цветные венецианские стекла, а эркеры вторых этажей выступают над высокими оградами.

В Стамбуле, как, впрочем, и в других городах, деньги теперь ничего не стоили. Когда я отправлялся на Восток, в пекарне за одну акча давали огромный хлеб в четыреста дирхемов³, сейчас за эти деньги можно было получить половину хлеба, вкус которого к тому же не имел ничего общего с тем хлебом, который я ел в детстве.

В это время разврата, дороговизны, преступности, разбоев прославился проповедник по имени Нусрет, объявивший, что он принадлежит к роду пророка Мухаммеда; он читал проповеди в мечети Баязида⁴. Этот проповедник из Эрзурума объяснял все беды, свалившиеся на Стамбул за последние десять лет: городские пожары, смерть десятков тысяч людей при каждой эпидемии чумы, не приносящие побед войны с сефевидами⁵, бунты христиан на Западе, – тем, что мусульмане свернули с пути пророка Мухаммеда, отошли от заповедей Корана, что христиане свободно продают вино, а дервиши играют в обителях на музыкальных инструментах.

1. Тебриз – город в Иране.

2. Казвин – город в Иране.

3. Дирхем – мера веса, равная 3,12 г.

4. Баязид (Молниеносный) (1354 или 1360-1403) – турецкий султан.

5. Сефевиды – династия шахов Ирана (1502—1736).

После вечернего азана¹ я зашел в кофейню. Здесь было многолюдно и тепло. Рядом с очагом на возвышении сидел рассказчик, я видел подобных в Тебризе и других персидских городах, только называют их там не меддахами, а пердэдарами; меддах повесил рисунок собаки, выполненный на грубой бумаге, и, время от времени указывая на стену, повел рассказ от имени собаки.

Я – СОБАКА

Я – собака. Не обладая равным мне умом, вы считаете, что собака не может разговаривать. Между тем вы верите, что могут разговаривать мертвые, верите в рассказы, смысла которых не понимаете. Знайте же: собака говорит, но лишь с теми, кто умеет слушать.

Давным-давно, в незапамятные времена, в одну из самых больших мечетей одной столицы – предположим, она называлась мечеть Бая-зида – пришел из провинциального города начинающий проповедник. Возможно, он не скрывал своего имени, например сказал, что его зовут Хусрет Ходжа. Он был лживый и тупоголовый, этот проповедник. Он был силен не столько умом, сколько языком, да простит меня Господь! Каждую пятницу проповедник приводил собравшихся в мечети в такой экстаз, что люди рыдали и падали в обморок. Сам он никогда не рыдал, напротив, рыдания толпы вдохновляли его на еще более сильные обличения. Видимо, из любви к его обличениям торговцы овощами, султанская гвардия, повара, простые горожане и даже многие проповедники, такие же, как он, стали рабами этого человека. Ему нравилось обожание толпы; он быстро понял, что заставить плакать, а то и напугать верующих – легкое и к тому же весьма приятное занятие, да и заработать можно неплохо. Он громогласно вещал в мечети:

– Мы забыли ислам времени Великого Пророка и верим лжи, мы полюбили чужие книги, называем их мусульманскими. Отсюда – дороговизна, чума, поражения. Разве во времена Пророка Мухаммеда читали молитвы по умершим? Разве отмечали сорок дней со дня смерти, раздавали сладости, чтобы помянуть душу усопшего? Разве читали Коран, как песню, на разные тона? Разве, поднявшись на минарет, читали азан, любуясь своим голосом и похваляясь арабским языком? Мусульмане идут на кладбища просить помощи у мертвых, в мавзолеях поклоняются камням, как идолопоклонники, привязывают тряпицы, загадывая желания, дают клятвы.

1. Азан – призыв к молитве у мусульман.

Разве во времена Пророка Мухаммеда были секты, обучающие такому? Известно, что члены некоторых исламских орденов читают Коран, собравшись вместе, в сопровождении музыкальных инструментов танцуют. Да они просто неверные. Надо разрушить их обители, а землю, на которой они стояли, выбросить в море; только тогда в тех местах можно будет совершать намаз, – Хусрет Ходжа входил в раж и брызгал слюной. – Эй, мусульмане, пить кофе – грех. Великий Пророк сказал, что кофе усыпляет разум, портит желудок, он вызывает грыжу в позвоночнике и бесплодие. Кофе – это искушение дьявола. Кофейни, – продолжал Хусрет Ходжа, – это места, где собираются любители повеселиться, богачи, привыкшие к роскоши, они занимаются там всяким бесстыдством. Кофейни следует закрыть даже раньше обителей. Разве у бедняков есть деньги на кофе? Люди пьют кофе, перестают понимать реальность и начинают верить в говорящую собаку; а презренная собака хулит меня и нашу религию.

Мне бы хотелось ответить на последние слова проповедника-эфенди.

Напомню вам одну из самых прекрасных сур Корана, суру «Пещера». В восемнадцатом аяте этой суры, говорящей о любви человека к Аллаху, о чудесах, творимых Аллахом, о мимолетности времени, о сладости глубокого сна, упоминается собака, лежащая у входа в знаменитую пещеру, где спят семь юношей. Любой вправе гордиться упоминанием о нем в Коране. Я как собака горжусь этой сурой и надеюсь, что Аллах вразумит эрзурумцев, называющих врагов бесхвостыми собаками.

А теперь послушайте историю: однажды венецианский дож прислал в подарок дочери нашего сиятельного падишаха китайский шелк, китайские кувшины, расписанные голубыми цветами, а еще знаете что? Маленькую, капризную европейскую собачку с нежной, мягкой соболиной, шерстью.

Знаете ли вы, что в европейских странах у каждой собаки есть хозяин? На шеях этих собак ошейники, даже самые бедные люди прогуливают своих собак, таща их на цепи. Несчастных собак держат дома, говорят, их даже в постель берут. Собаки не могут ни обнюхаться, ни познакомиться с другими собаками, они даже не могут ходить парами. Когда, гуляя с хозяевами, они встречают другую собаку, то лишь провожают ее грустным взглядом. Гяуры и представить себе не могут, что собаки свободно бродят стаями по улицам Стамбула, что у нас нет хозяев и что мы бегаем, где хотим, в любом месте справляем нужду, кусаем, кого хотим, греемся на солнышке или сладко спим, выбрав подходящее тенистое место.

МЕНЯ НАЗОВУТ УБИЙЦЕЙ

Если бы до того, как я убил этого жалкого труса, мне сказали, что я могу загубить живую душу, то я ни за что не поверил бы. Я живу теперь словно в тумане. Содеянное удаляется от меня наподобие заморского галеона, уходящего за горизонт. Иногда мне кажется, что я не совершал никакого преступления.

Мне очень не хотелось убивать Зарифа, но я понял, что другого пути нет. И взял на себя всю ответственность. Я не позволил подвергать опасности весь цех художников из-за клеветы одного неразумного.

Но все же трудно привыкнуть к мысли, что ты убийца. Мне не сидится дома, я в тревоге мечусь по улицам, смотрю на лица прохожих и вижу, что большинство людей считают себя невинными. На самом деле они просто не попадали в такое положение, когда были бы вынуждены совершить убийство. После того как я убил того несчастного, мне хватило четырех дней хождения по улицам Стамбула, чтобы понять: каждый, у кого в глазах я видел свет ума, а на лице тень душевных страданий, по сути своей – убийца. Невинны только дураки.

Сегодня вечером, например, когда я согревался горячим кофе в кофейне за рынком Эсир и, глядя на рисунок собаки, смеялся вместе со всеми над тем, что рассказывает собака, я почувствовал, что сидящий рядом со мной тип – такой же убийца, как и я. Он, как и я, смеялся над рассказом меддаха, рука его мирно лежала рядом с моей, но пальцы, держащие кофейную чашечку, беспокойно подрагивали, и я понял, что он моей породы. Резко повернувшись, я посмотрел ему прямо в лицо. Он смутился, испугался. Когда стали расходиться, какой-то знакомый взял его под руку:

– Уж теперь-то почитатели Нусрета Ходжи разгромят кофейню.

Но тот взглядом прервал его. Их страх передался и мне. Никто никому не доверяет, каждый ждет подлости от другого в любой момент.

Когда во время прогулок я встречаюсь взглядом с прохожими, мне в голову приходит странная мысль: если я подумаю сейчас, что я – убийца, человек прочтет это на моем лице.

И тогда я перестану быть безымянным призраком, бродящим среди вас, и превращусь в обыкновенного преступника, конкретного человека, который способен обрушить камень на голову себе подобного. Так что позвольте мне не думать о содеянном: пусть

умные люди вычислят меня по моим разговорам и рисункам, как они находят воров по следам. Тогда-то мы и получим ответ на очень часто задаваемый сейчас вопрос: должен ли быть и есть ли у каждого художника собственный, присущий только ему стиль?

Возьмем великого мастера, короля художников Бехзада¹. В великолепной книге «Хосров и Ширин», сделанной девяносто лет назад в Герате², я случайно наткнулся на миниатюру³ Бехзада, очень соответствующую моему состоянию, так как она изображала сцену убийства. Книга была из библиотеки наследника персидского престола, убитого в жестокой битве за трон. Вы помните конец дестана «Хосров и Ширин»; я говорю о произведении не Фирдоуси⁴, а Низами⁵.

После невероятных, полных опасностей приключений влюбленные женятся, но сын Хосрова от первой жены, молодой Шируйе, подобен сатане. Он мечтает завладеть троном отца и его молодой женой Ширин. Шируйе, про которого Низами пишет: «рот его источал скверный запах, как у львов», проникает ночью в спальню отца и Ширин, в темноте ошупью находит их ложе и вонзает кинжал в печень отца. К утру отец истечет кровью и умрет рядом с разделяющей с ним ложе, спокойно спящей красавицей Ширин.

Миниатюра великого мастера Бехзада изображала настоящий страх, я ощутил его с первого взгляда; представьте себе ужас человека, который просыпается среди ночи в крошечной тьме и по шороху догадывается, что в комнате кто-то посторонний! А теперь представьте, что этот посторонний в одной руке держит кинжал, а другой сжимает ваше горло. Все подчинено одной цели: неясные очертания стены, окон – одного цвета с беззвучным криком, вырывающимся из вашего сдавленного горла; изящные завитушки и круги на красном ковре, веселые желтые и фиолетовые цветы на роскошном одеяле, по которому безжалостно ступают босые ноги убийцы, подчеркивают красоту изображения, на которое вы смотрите, и в то же время напоминают о том, как прекрасен мир, который вы покидаете, комната, в которой вы умираете. Но главное, что вы понимаете: это – равнодушие мира к вашей смерти и ваше полное одиночество в момент смерти, даже если рядом с вами жена.

1. Ксмаледдин Бехзад (ок. 1455—1535/1536) – крупнейший представитель гератской школы миниатюры.

2. Герат – город на северо-западе Афганистана.

3. Первоначально миниатюрой называли иллюстрации к тексту и заставки в рукописных книгах, отличавшиеся особо тонкой манерой наложения красок.

4. Абулькасим Фирдоуси (ок. 940—1020 или 1030) – персоязычный поэт.

5. Низами Гянджеви (ок. 1141 – ок. 1209) – азербайджанский персоязычный поэт.

Двадцать лет назад старый мастер держал в дрожащих руках книгу, мы вместе рассматривали рисунки. Вдруг лицо его осветилось, но не светом стоявшей рядом свечи, а восхищением. «Бехзад, – сказал он, – это настолько очевидно, что и подписи не надо».

Бехзад знал свою силу и не оставлял подписи нигде, даже в самом укромном уголке. Старый мастер сказал, что Бехзад создавал непревзойденные шедевры и очень старался не оставить следа, по которому можно было бы определить личность того, кто нарисовал это чудо.

Чтобы понять, не остались ли на месте преступления какие-нибудь следы, которые помогут найти меня, я на следующую ночь пришел на тот пустырь, и вдруг в голове у меня стали вертеться вопросы о манере и стиле. Ведь то, что называют манерой, стилем, – это всего лишь особенность, присущая определенной личности.

В ту ночь, когда мы с Зарифом-эфенди отправились на пустынное пепелище, снег еще не выпал. Мы слышали далекий лай собак.

– Зачем мы сюда пришли? – спрашивал несчастный. – Что ты хочешь показать мне здесь в этот час?

– Вон там колодец, и в двенадцати шагах от него я спрятал деньги, скопленные за много лет, – отвечал я. – Если ты никому не расскажешь то, что сейчас говорил мне, деньги будут твои.

– Значит, ты согласен, что делаешь несправедное дело, – горячо сказал он.

– Согласен, – вынужден был соврать я.

– То, что вы сейчас рисуете, большой грех, знаешь ли ты это? – спросил он наивно. – Как вы могли отважиться на такое безбожие?! Вы все будете гореть в аду. Ваша боль и ваши страдания никогда не прекратятся. Вы и меня втянули.

Услышав эти слова, я с ужасом осознал, что все, кому он будет говорить об этом, поверят ему. Эниште¹-эфенди заказывал рисунки для книги тайно и платил хорошие деньги, поэтому о ней ходило много слухов. Кроме того. Главный художник мастер Осман ненавидит Эниште-эфенди и, я думаю, сознательно распространяет о нем сплетни.

– Слушай, – сказал я, стараясь казаться беспечным, – мы делаем заставки, орнаменты на полях страниц, рисуем самые красивые картинки, мы разукрашиваем шкафы, шкатулки. Это наша работа. Нам заказывают рисунок и говорят: вот сюда вы поместите корабль, газель, посадите падишаха, нарисуете птиц, здесь изобразите такую-то сцену.

1. Эниште — дядя, муж родственницы, сестры, тети (турецк.)

А один раз Эниште-эфенди поручил мне нарисовать лошадь, какую я хочу. Тогда, чтобы понять, какую лошадь мне хочется нарисовать, я, как великие мастера прошлого, нарисовал сотни лошадей. Вынув набросок, сделанный на грубой самаркандской бумаге, я показал Зарифу. Он заинтересовался, приблизил бумагу к глазам и стал рассматривать при бледном свете луны.

– Старые мастера Герата и Ширази¹, – продолжал я, – говорили, что художник должен пятьдесят лет подряд рисовать лошадей, лишь тогда он нарисует настоящую лошадь, такую, какой ее видел Аллах, и добавляли, что лучшие рисунки лошадей сделаны в темноте – ведь настоящие художники через пятьдесят лет работы слепнут и привыкают рисовать лошадь по памяти. Нам заказывают, и мы стараемся нарисовать самую совершенную лошадь, как рисовали старые мастера, вот и все. После того как сделан заказ, нечестно считать нас в чем-то виноватыми.

– Не знаю, правильно ли это, – сказал Зариф. – Ведь у нас есть своя воля. Я не боюсь никого, кроме Аллаха. А он дал нам разум, чтобы мы отличали плохое от хорошего.

– Аллах все видит, все знает, – сказал я по-арабски. – Он поймет: ты, я, мы работали, не имея понятия о том, что получится в результате. Кому ты донесешь на Эниште-эфенди? Ты не веришь, что эта книга делается по воле всемогущего падишаха?

Мы остановились возле колодца. В какой-то миг я увидел в темноте его глаза и понял, как ему страшно. Мне стало жаль его. Но стрела была уже выпущена. Я молил Аллаха укрепить меня в мысли, что передо мной не просто глупый трус, а подлец.

– Отсчитай двенадцать шагов отсюда и копай, – сказал я.

– А что будет потом?

– Скажу Эниште-эфенди, чтобы сжег рисунки. Что еще можно сделать? Ведь если твои слова услышат поклонники Нусрета Ходжи, они не оставят нас в живых, а рисунки уничтожат. У тебя же есть среди них знакомые? Если ты возьмешь мои деньги, я поверю, что ты не донесешь им на нас.

– А деньги в чем?

– В старом сосуде для маринадов; семьдесят пять венецианских золотых, – ответил я уверенно.

В голове пронеслось: золотых-то нет! А если я не дам денег, этот негодяй всех нас погубит!

1. Шираз – город в Иране.

Я ухватил двумя руками камень, лежащий рядом с колодецем. Он еще отсчитывал седьмой и восьмой шаги, когда я догнал его и изо всей силы ударил сзади по голове.

Уже после того как я сбросил труп в колодець, я подумал, что сделал все слишком грубо, как совсем не подобает истинному художнику.

Я – ЭНИШТЕ

Для Кара я – эниште, но так получилось, что не только он, все называют меня Эниште. Кара приходил к нам еще тридцать лет назад, когда мы жили на окраине Аксарая¹, на тенистой улице, где росли каштаны и липы. Летом я сопровождал в поездках Махмутапашу, и тогда Кара с матерью перебирались в наш дом. Его покойная мать была старшей сестрой моей покойной жены. Кара было в ту пору шесть лет, он плакал, если плакала мать, молчал, если она молчала, и боязливо посматривал на меня.

Сейчас передо мной взрослый мужчина. Он выказывает мне уважение: почтительно поцеловал руку, преподнес в подарок монгольскую чернильницу со словами: «специально для красных чернил». Кара сидит напротив меня, аккуратно подобрав ноги, а я вспоминаю годы, когда мать часто приводила его сюда, считая, что будущее его – в нашем доме; я заметил, что он любит книги, и это сблизило нас, он стал моим подмастерьем. Я рассказывал ему, что художники Ширази, уведя на самый верх рисунка линию горизонта, открыли новый стиль. Все художники изображали несчастную Лейлу, сгорающую от любви к Меджуну, в пустыне; так они подчеркивали ее одиночество. Я объяснял мальчику, каким образом великому мастеру Бехзаду удалось изобразить ее еще более одинокой, хотя он рисовал, как она готовит пищу, разжигает огонь в очаге, идет меж шатрами в толпе женщин.

Как все молодые мужчины, посещавшие наш дом, Кара, конечно же, был влюблен в мою единственную дочь Шекюре. В те времена в мою красавицу были влюблены многие; я относился к этому спокойно. Но любовь Кара, который был своим человеком в доме и мог видеть лицо Шекюре, представляла определенную опасность. Он не сумел, как я надеялся, побороть эту любовь и совершил ошибку, открыв моей дочери свои пылкие чувства.

1. Аксарай – район в европейской части Стамбула на берегу Босфора.

После этого ему пришлось забыть дорогу в наш дом.

Я думаю. Кара знает, что через три года после того, как он покинул Стамбул, моя дочь, будучи в самом прекрасном возрасте, вышла замуж за сипахи¹; этот легкомысленный тип, оставив ее с двумя детьми, отправился в военный поход, и вот уже четыре года мы не получали от него или о нем никакой весточки. Слухи по Стамбулу распространяются быстро, по тому, как Кара смотрит мне в глаза, я догадываюсь, что он давно обо всем узнал. Вот и сейчас, просматривая лежащую на подставке книгу о душе, он прислушивается к голосам за дверью – два года назад дочь с сыновьями вернулась в мой дом.

Мы сидели в комнате, где зимой я занимался рисованием. Я видел:

Кара чувствует, что в соседней комнате находится Шекюре. Я поспешил перейти к главному, к тому, что изложил ему в письме, вызывая его из Тебриза в Стамбул:

– Сейчас я готовлю книгу, точно так же, как ты в Тебризе, когда заказывал книги художникам и каллиграфам. Мой заказчик – наш сиятельный падишах, опора нашего мира. Книга делается в тайне, и падишах тайно дал мне деньги через Главного казначея. Я договорился с лучшими художниками из художественной мастерской падишаха.

У нас иллюстрация делается к самой интересной сцене рассказа: первая встреча влюбленных, или горе Рустема, понявшего, что он убил собственного сына, или влюбленный Меджнун на фоне дикой природы среди львов, тигров, газелей и шакалов. Считается, что рисунок не может существовать отдельно от рассказа.

Я раньше тоже так думал. Но оказывается – может. Два года назад я был в Венеции в качестве посла нашего падишаха. Я видел там работы итальянских мастеров. Не зная, какие сюжеты они иллюстрируют, я старался понять суть нарисованного. Однажды я увидел рисунок на стене дворца и застыл, потрясенный.

Это было изображение человека, просто человека, как я. Гяур, конечно, не из наших. Но, глядя на него, я чувствовал, что вроде бы похож на него. Хотя внешнего сходства не было. Круглое полное лицо, скулы не выступают, подбородок совсем другой. Ни капли на меня не похож, но, когда я смотрел, сердце у меня билось, будто нарисовали меня.

1. Сипахи – воин-всадник в османской армии.

От венецианского господина, который водил меня по дворцу, я узнал, что это изображение его друга, такого же благородного господина, как он сам. Рисунок показывал все, что было важного в жизни человека: панорама поместья, видневшегося из открытого окна, деревня и лес, который казался настоящим в переходящих одна в другую сочных красках. На столе перед ним часы, книги, ручки, карта, компас, коробки с золотыми монетами, всякие предметы непонятного для меня назначения, которые я видел и на других рисунках. И, наконец, рядом с отцом прекрасная, как сон, дочь.

Я понял, что этот рисунок и есть сам рассказ. Он – не приложение к рассказу, он – сам по себе.

Я никак не мог забыть этот рисунок. Всю ночь я думал о нем. Хотел бы я, чтобы меня изобразили на таком рисунке? Нет, это было бы слишком, так должен быть изображен наш падишах! Можно сделать книгу, которая показала бы падишаха и мир, что окружает его, подумал я.

Итальянский мастер так нарисовал венецианского бея, что, если ты никогда не видел этого человека, а тебе велют найти его в толпе, ты легко узнаешь его среди тысяч людей. Итальянские мастера нашли способ изображать людей, отличающихся друг от друга не только одеждой и наградами, но и лицом. Это называют портретом.

Если твое лицо нарисуют хоть раз таким образом, тебя уже никогда не забудут. Даже если ты будешь далеко, человек посмотрит на портрет и почувствует, что ты рядом. И те, кто никогда не видел тебя при жизни, через много лет после твоей смерти могут встретиться с тобой взглядом, будто ты стоишь, напротив.

Был один художник, который, как и другие, приходил ко мне по ночам работать над тайной книгой для падишаха. Он лучше всех делал заставки. Бедный Зариф-эфенди вышел отсюда, а домой не пришел. Я боюсь, не убили ли его.

Я – ОРХАН

– Убили? – спросил Кара.

Кара был высокий, худой и немножко страшный. Я вошел к ним, когда дедушка сказал: «Убили».

Дедушка посмотрел на меня совсем не сердито, так что я без стеснения бросился к нему на колени; правда, он тут же спустил меня на пол и сказал:

– Иди. Мы работаем.

От мангала шло такое приятное тепло, что мне совершенно не хотелось уходить. Я стоял, вдыхая запах красок, клея и кофе.

– Рисовать по-другому – значит видеть по-другому, – рассуждал дедушка, – за это и убили бедного художника. Хотя не знаю, убит он или просто пропал. Он работал в старом стиле. Сейчас в дворцовой мастерской под руководством Главного художника Османа рисуют миниатюры для «Сур-наме»¹ падишаха. Художники работают дома. А мастер Осман – в мастерской. Я хотел бы, чтобы ты сначала отправился туда и увидел все своими глазами. Я боюсь, что Зарифа-эфенди убил кто-то из художников, работающих под прозвищами, которые много лет назад дал им Главный художник Осман: Келебек (Бабочка), Зейтин (Олива), Лейлек (Журавль)... Их ты можешь застать дома.

Я вышел в соседнюю комнату. Из угла, где ночью спала Хайрие, послышался скрип. Там оказалась не Хайрие, а мама. Увидев меня, она смутилась.

– Где ты был?

– Я был у дедушки. А ты что здесь делаешь?

– Разве я тебе не говорила не ходить к дедушке, когда у него гости? – ругала меня мама, но не очень громко: не хотела, чтобы слышал гость. – Что они делали? – спросила она потом ласковым голосом.

– Они сидели. Но не рисовали. Дедушка что-то объяснял, а гость слушал.

– Иди вниз, – сказала мама. – Пришли мне Хайрие. Побыстрее. Она села и стала что-то писать на маленьком листке бумаги, положив его на специальную доску.

– Что ты пишешь, мама?

– Ты слышал, я велела тебе быстро спуститься и позвать Хайрие.

МЕНЯ ЗОВУТ КАРА

Как объяснял мне Эниште, султан желает, чтобы тайная книга была готова к тысячелетней годовщине хиджры². Повелитель вселенной, наш падишах в тысячный год исламского календаря хотел

1. Сур – судьба; сур-наме – описание судьбы (турецк.).

2. Хиджра – начало мусульманского летосчисления.

показать, что его художники владеют европейскими приемами рисунка не хуже европейцев. Падишах знал, как заняты мастера-художники, поскольку заказал им уже «Сур-наме», и повелел, чтобы они работали не в тесноте мастерской, а по домам.

– Встретишься с мастером Османом, – сказал Эниште, – одни говорят, он слепнет, другие – слабеет умом. Я считаю, что он и слеп, и глуп.

Эниште готовил книгу для падишаха, хотя вообще никогда не занимался рисованием; это обстоятельство неизбежно должно было испортить отношения Эниште с почтенным мастером, Главным художником Османом. Слушая Эниште, я вспоминал детство и рассматривал вещи в комнате. За двенадцать лет я не забыл голубой ковер из Кулы¹ на полу, медный кувшин, кофейный поднос, ковш и кофейные чашечки, про которые покойная тетя много раз говорила, что их привезли из Китая через Португалию. Все это: и подставка для книг, инкрустированная по краям перламутром, и полочка для кавука² на стене, и красная бархатная подушка, до которой я дотронулся, чтобы вспомнить, какая она мягкая, – было перевезено сюда из дома в Аксараяе, где проходило наше с Шекюре детство; все эти вещи хранили следы счастья в том доме и свет тех дней, когда я занимался рисованием.

– Я не боюсь смерти, – сказал, помолчав, Эниште, – я знаю, что после смерти человеку предстоит длинный путь. Я боюсь, что умру, не сумев закончить книгу для падишаха.

Я ответил, что за прошедшие годы многому научился у художников и готов помогать ему не жалея сил.

Поцеловав руку Эниште, я спустился по лестнице, вышел во двор и сразу же с удовольствием ощутил холодок на своей коже. Когда я закрывал дверь конюшни, подул ветер. Моя белая лошадь, которую я вел через двор, вздрогнула вместе со мной. Казалось, мы испытывали одинаковое нетерпение. Выйдя на улицу, я готов был одним махом вскочить на лошадь и унести по узким улицам прочь отсюда, как сказочный всадник, уезжающий, чтобы не возвращаться, но тут передо мной вдруг появилась рослая женщина: еврейка в розовом одеянии, с узлом в руке. Она была большая и широкая, как шкаф, и одновременно подвижная и даже кокетливая.

Она сказала:

1. Кула – город в Турции.

2. Кавук – старинный головной убор, на который наматывалась чалма.

– Юноша, ты и в самом деле красив, как говорят. Женат ты или холост, не купишь ли шелковый платок для тайной возлюбленной у Эстер, самой знаменитой торговки Стамбула?

– Нет.

– А красный атласный кушак?

– Нет.

– Не говори: нет да нет! Разве может не быть у такого молодца невесты или тайной возлюбленной? Кто знает; она небось все глаза по тебе проплакала.

В какой-то миг ее тело изогнулось, как изящное тело акробата, и она очень проворно приблизилась ко мне. В то же мгновение в руке у нее, как у фокусника, появилось письмо. Я выхватил письмо и ловким движением, словно только и ждал этого, сунул его под рубаху. Письмо было большое, я чувствовал его жар между кушаком и моей кожей, холодной как лед.

– Садись на коня, пусть идет шагом, – сказала торговка Эстер. – Езжай вдоль стены, как она кончится, поверни на улицу направо, а как доедешь до гранатового дерева, обернись и посмотри на дом, из которого вышел, в окошко, что будет перед тобой.

Она исчезла так же неожиданно, как и появилась. Я неловко вскочил в седло, будто делал это впервые в жизни. Сердце билось, словно хотело выскочить из груди, руки не знали, как удержать поводья, но ноги сжали круп лошади, и умное животное пошло шагом, как велела Эстер; в конце стены мы свернули направо.

Где же гранатовое дерево? Может, это чахлое? Да, оно! Я слегка повернулся на лошади: а вот и окно, но в нем никого не было. Эта ведьма Эстер обманула меня!

Только я так подумал, как обледеневшие ставни распахнулись, словно взорвались, и на солнце, в сверкающей раме окна появилась моя прекрасная возлюбленная, через двенадцать лет я увидел ее лицо среди заснеженных веток. Моя черноглазая, смотрела то ли на меня, то ли вдаль, в другую жизнь. Я не понял, была она грустна или улыбалась; или грустно улыбалась?

В письмо был вложен рисунок, я понял, как похожа эта сцена – я на коне, она у окна – на так часто изображаемую сцену из «Хосрова и Ширин»; я сгорал от любви, как и было изображено в тех книгах, которые мы читали в детстве.

МЕНЯ ЗОВУТ ЭСТЕР

Знаю, вам интересно, что же было написано в письме, которое я отдала Кара. Поскольку и мне было интересно, я все узнала. Если хотите, представьте, что переворачиваете обратно страницы этого повествования, а я расскажу, что произошло до того, как я передала письмо.

Мы, два старика, я и мой муж Несим, под вечер сидели дома в нашем еврейском квартале, что на берегу Золотого Рога, подбрасывали дрова в печку и пытались согреться. Не смотрите, что я называю себя старухой; стоит мне взять в руки узел с шелковыми носовыми платками, перчатками, чаршафами¹ да среди тканей для рубашек, привезенных португальским кораблем, положить колечки, сережки, ожерелья, и дорогие, и дешевые, да бусы, от которых чаще бьются женские сердца, как я отправляюсь в город, и нет улицы в Стамбуле, которую я обошла бы стороной. Помимо товара, я ношу от дома к дому письма и слухи. Знайте, что половину девушек Стамбула замуж выдала я; и говорю я это не ради хвастовства. Так вот, как я уже говорила, сидели мы под вечер дома, и вдруг кто-то постучал. Я встала, открыла дверь – на пороге глупенькая служанка Хайрие. В руке – письмо. Сначала я не поняла просьбу Шекюре, которую изложила служанка, дрожа то ли от холода, то ли от волнения.

Ваша Эстер умирала от любопытства. Она сумела узнать, что было написано в письме:

«Кара-эфенди, пользуясь близостью с моим отцом, ты приходишь к нам в дом. Но не думай, что получишь какой-нибудь знак от меня. После твоего отъезда произошло многое. Я вышла замуж, у меня два прекрасных сына. Один - Орхан, ты видел его, когда он зашел в комнату. Я уже четыре года жду мужа и больше ни о чем не думаю. Возможно, я чувствую себя слабой, беззащитной и одинокой с двумя детьми и старым отцом и нуждаюсь в мужской поддержке, но пусть никто не думает, что сумеет воспользоваться моим положением. Поэтому, пожалуйста, не стучи больше в нашу дверь. Ты однажды уже сделал неверный шаг, и у меня тогда ушло много сил, чтобы оправдаться перед отцом. Вместе с этим письмом посылаю тебе рисунок, который ты сделал для меня, когда был молодым и витал в облаках. Чтобы ты ни на что не надеялся и не обманывался. Нельзя влюбиться, глядя на этот рисунок. Пусть нога твоя не ступает в наш дом, это - самое лучшее».

1. Чаршаф — покрывало мусульманской женщины.

Я – ШЕКЮРЕ

Почему я стояла у окна, когда Кара проезжал на белой лошади? Почему я почувствовала, что он подъехал, и именно в этот момент распахнула ставни и долго смотрела ему вслед сквозь заснеженные ветви граната? Этого я не могу вам точно сказать. Хотя, если честно, я отправила с Хайрие весточку Эстер и, конечно, знала, где проедет Кара. Я пошла в комнату со встроенным шкафом, окно которой выходит на гранатовое дерево, и стала перебирать белье в сундуке. Когда я, повинувшись внутреннему порыву, с силой распахнула ставни, в комнату ворвался солнечный свет. Слепленная солнцем, я стояла у окна и встретилась с Кара взглядом; он был очень красив.

Хотя он на двенадцать лет старше меня, я еще в детстве знала, что я взрослее его. В те времена он не умел держаться со мной твердо, по-мужски, он робел, и прятался за книгу или рисунок, что лежали перед ним. Потом он влюбился в меня и выразил свою любовь в рисунке.

Есть одно место в истории Хосрова и Ширина, которое все знают; и мы с Кара часто говорили о нем. Шапур хотел, чтобы Хосров и Ширин влюбились друг в друга. Однажды, когда Ширин с приближенными выехала на прогулку, Шапур потихоньку повесил на ветку дерева в саду, где они отдыхали, изображение Хосрова. Увидев рисунок, Ширин влюбилась в красавца Хосрова. Иллюстрируя этот эпизод, художники рисовали Ширин, с изумлением разглядывающую изображение Хосрова. Кара работал с моим отцом, много раз видел этот рисунок и несколько раз в точности скопировал его. Позже, когда он влюбился в меня, он, рисуя эту сцену для себя, вместо Хосрова и Ширина помещал на рисунке себя и меня. Если бы он не обозначил наши имена, то только я догадалась бы, что девушка и юноша на рисунке – это мы с ним, потому что иногда в шутку он рисовал себя и меня всегда одинаковыми линиями и одним и тем же цветом: меня голубым, а себя красным. Как-то он оставил рисунок в таком месте, чтобы я могла увидеть, и убежал. Я помню, что он наблюдал, как я смотрю на рисунок и что делаю потом.

Я сообщила отцу, что Кара объяснился мне в любви. В тот же вечер отец сказал маме: «Твой нищий племянник далеко замахнулся. Оказывается, он умнее, чем мы думали».

Я с грустью вспоминаю, что предпринял после этого отец, как я держалась от Кара на расстоянии, как он перестал ходить к нам в дом.

Не могу сказать, что я сразу забыла его, когда он покинул Стамбул, но постаралась изгнать из своего сердца. На протяжении долгих лет мы не получали от него никаких известий. Думаю, нет ничего плохого в том, что я хранила его рисунок как память и свидетельство нашей детской дружбы. Чтобы отец или мой муж не рассердились, если найдут рисунок, я на имена «Шекюре» и «Кара» накапала папиных чернил, а потом из капель старательно сделала цветочки. Пусть устыдятся те, кто плохо подумал про меня, узнав, что я отослала ему рисунок, а сама появилась перед ним в окне.

Я вошла к отцу. Он читал книгу.

– Ваш гость ушел, – сказала я. – Надеюсь, он вас не утомил.

– Нет, – ответил он. – Наоборот, он меня развлекал. Он по-прежнему уважает своего Эниште.

– Это хорошо.

– Он осторожен и расчетлив.

Отец меня очень любит. До меня у него было три сына, но их души прибрал Аллах, а меня, девочку, оставил. Я вышла замуж за сипахи, который мне понравился. О красоте моего мужа ходили легенды, в первый раз он встретился мне, когда я возвращалась из бани (я нашла способ послать ему весточку); глаза у него горели, и я тут же влюбилась. Смуглый, зеленоглазый, он был прекрасен; у него были сильные руки, но он был большой и добрый, как ребенок. Всю силу он оставлял в битвах, откуда привозил добычу, а дома был спокойный и мягкий, как женщина. Отец не хотел отдавать меня за него, потому что он был беден, но согласился, когда я объявила, что иначе убью себя; муж отправлялся с одной войны на другую, проявил большую храбрость, стал владельцем земельного надела стоимостью в десять тысяч акча, и все стали нам завидовать.

Когда четыре года назад он не вернулся домой с армией, что воевала против сефевидов, я не очень обеспокоилась. Сначала ждала, что он вот-вот вернется, но за два года привыкла к его отсутствию, потом поняла, как много в Стамбуле жен пропавших военных, и окончательно смирилась со своим положением.

По ночам в постели я обнимала детей, и мы вместе плакали. Чтобы утешить их, я придумывала, что кто-то видел их отца и сказал, что он вернется до весны, потом от них эту новость узнавали другие, и когда она, сделав круг, доходила до меня как «добрая весть», я первая в нее верила.

Жили мы в районе Чаршикапы вместе с престарелым отцом мужа, не видевшим в жизни ничего хорошего, но очень деликатным человеком, и холостым братом мужа Хасаном, таким же зеленоглазым, как и он. Когда пропал мой муж – опора дома, жить стало трудно. Свекор, несмотря на свои годы, снова взялся за изготовление зеркал – он оставил это занятие, когда старший сын разбогател, участвуя в войнах. Но основные деньги приносил брат мужа, работавший на таможне, и постепенно он стал требовать беспрекословного подчинения себе всех живших в доме.

Я, конечно, могла сразу вернуться сюда, в дом отца, но мой муж официально числился живым, и кадий¹ считал, что, если бы я рассердила родственников мужа, они могли бы не только силой вернуть меня к себе, но и ославить нас и даже заставить отца заплатить за то, что он укрывает меня. Я могла бы лечь в постель с Хасаном, который был влюблен в меня без памяти. Но такой необдуманный шаг мог привести меня к тому, что я в конце концов оказалась бы не в положении его жены, а – да упасет Аллах! – в положении его служанки. Хасан и свекор боялись, что я вернусь с детьми к отцу и потребую долю наследства, поэтому они ни за что не хотели признать, что мой муж погиб. А раз он был жив, я не могла выйти замуж ни за Хасана, ни за кого другого; исчезновение мужа привязывало меня к этому дому, и это их вполне устраивало. Потому что – кроме всего прочего – я делала всю домашнюю работу.

Как-то ночью, когда Хасан начал ломиться в дверь комнаты, где я спала с детьми, я встала и, не обращая внимания на испугавшихся детей, заорала во весь голос, что к нам проникли злые джинны. Я разбудила свекра, и умный старик из моей бессвязной болтовни о джиннах со стыдом понял горькую правду: его пьяный сын позволил себе приставать к жене собственного брата, матери двоих детей. Он промолчал, когда я сказала, что не могу спать, потому что надо охранять детей от джиннов, А утром я объявила, что перебираюсь с детьми к больному отцу, чтобы ухаживать за ним, и никто мне не возражал.

МЕНЯ ЗОВУТ КАРА

Вот мой рисунок, сделанный много лет назад: на дереве листок с изображением Хосрова; Ширин смотрит на юношу и влюбляется в него. Помню, я увидел эту сцену в книге, только что полученной Эниште, вдохновился и нарисовал то же самое.

1. Кадий – судья шариатского суда.

Все последние годы, вспоминая об этом рисунке, я стыдился такого объяснения в любви, но сейчас мне не было стыдно: рисунок перенес меня в счастливые годы юности. Всю ночь я думал о письме и к утру решил, что Шекюре сделала мастерски продуманный ход в партии шахмат любви. Я сел и при свете свечи написал ответное послание.

Немного поспав, я спрятал на груди свое письмо, вышел из дома и долго бродил по улицам. Прежде чем отправиться в художественную мастерскую, я послал к Эстер мальчишку, назначил ей место встречи перед обеденным намазом, чтобы передать письмо для Шекюре.

Здание мастерской, где я в детстве некоторое время был подмастерьем, находилось позади Айя-Софии¹.

Я вошел в теплую комнату, и тут же из угла неслышно, как тень, ко мне Подошел Главный художник мастер Осман. Образ мастера возникал в моей памяти всякий раз, когда я размышлял о рисунке; сейчас он стоял передо мной в белом одеянии и в неярком зимнем свете, проникающем через окно, выходявшее на Айя-Софию, был похож на привидение, явившееся с того света. Поцеловав усеянную пигментными пятнами руку, я сказал, что когда-то меня, еще ребенка, привел сюда Эниште, но я ушел, так как предпочел кисти перо, долгие годы путешествовал по городам Востока, работал каллиграфом у пашей и писцом в кадастровом ведомстве, познакомился со многими художниками, делал книги в Тебризе, побывал в Багдаде и Алеппо, Ване и Тифлисе.

– Расскажи, что и как рисуют художники в тех странах, где ты побывал, – попросил мастер Осман.

Я рассказал, что некоторые большие мастера делают рисунки, не относящиеся ни к какой книге, и продают их. Это не часть истории или изображение какой-либо сцены, а просто рисунок как таковой, например, просто хорошее изображение лошади. Рисунки раскупают. Большой спрос на изображение войны и любовных утех. Чтобы удешевить рисунки, художники работают на грубой бумаге и иногда даже не раскрашивают, оставляя их черно-белыми.

– Был у меня художник, – сказал мастер Осман, – удачливый, талантливый. Он так тонко работал, что мы называли его Зариф²-эфенди. Но уже шесть дней он не появляется. Исчез таинственным образом.

1. Айя-София – главный византийский храм (VI в.); после завоевания турками Константинополя в 1453 г. был переделан в мечеть; в настоящее время – музей.

2. Зариф – изящный, утонченный (турецк.).

– Разве может человек покинуть эту мастерскую, этот благословенный отчий дом? – удивился я.

– Мои четыре любимых мастера – Келебек, Зейтин, Лейлек и Зариф, которых я лично вырастил, – по воле падишаха работают теперь дома, – сказал мастер Осман.

Подумав, что не скоро увижу мастера еще раз, к тому же желая понравиться ему, я спросил:

– Учитель, скажите, в чем отличие настоящего художника? Я был уверен, что Главный художник, привыкший к льстивым вопросам, ответит нейтральной фразой, чтобы отделаться от меня и забыть обо мне в ту же минуту. Но он серьезно сказал:

– Нет единого критерия, отличающего настоящего художника. Времена меняются. Важно, чтобы талант художника служил нашим традициям, нашему искусству. Когда я хочу понять, что из себя представляет молодой художник, я его спрашиваю: хочет ли он, как это теперь модно у китайцев и европейцев, иметь собственный стиль? Хочется ли ему на рисунке поставить подпись, подобно европейским мастерам? Что чувствует он, когда после смерти шахов и падишахов сделанные по их заказу книги рвут, а иллюстрации из них используют в других книгах? Потом я спрашиваю про время. Время художника и время Аллаха. Понимаешь, сынок?

Я не понял. Но не признался, только спросил:

– А еще что?

– А еще – слепота! – сказал великий мастер Главный художник Осман и не стал ничего пояснять, замолчал, будто и так все ясно.

– Почему слепота? – робко уточнил я.

– Слепота беззвучна. Если ты сведешь вместе все, что я перечислил, получится слепота. Самое достойное для художника – это видеть в темноте, ниспосланной Аллахом.

Вежливо попрощавшись, я вышел. Не торопясь спустился по обледеневшей лестнице. Вопросы мастера я задам Келебеку, Зейтину и Лейлеку, чтобы лучше понять этих моих сверстников, сумевших стать известными мастерами.

Но прежде чем посетить художников, я пошел на новый рынок вблизи еврейского квартала, чтобы встретиться с Эстер. На рынке покупали морковь, айву, лук и редиску женщины из бедных кварталов в широких выцветших одеждах и прислуга; Эстер в своем розовом наряде выглядела очень живописно в этой толпе – большое, подвижное тело, не закрывающийся рот, выразительные глаза и брови. Она делала мне знаки.

Под устремленными на нас взглядами она умелым, ловким движением сунула мое письмо в карман шаровар. Взяла бакшиш¹. На просьбу поскорее доставить письмо сказала, показывая узел с товаром, что у нее еще очень много дел; до Шекюре она доберется лишь к обеду. Я попросил ее передать Шекюре, что отправляюсь к мастерам-художникам.

МЕНЯ НАЗЫВАЮТ КЕЛЕБЕК

Перед обеденным намазом постучали в дверь. Я открыл: Кара Челеби, знакомый по годам ученичества. Мы обнялись. Он сказал, что пришел по старой дружбе, хочет посмотреть мои работы и еще – задать мне один вопрос.

– Что же это за вопрос? – поинтересовался я.

– Стиль и подпись, – ответил он. Что ж, раз он спросил, я отвечу.

Стиль и подпись

Чем больше будет художников, которые рисуют не для услаждения глаза и укрепления веры, а ради денег и своей славы, тем чаще мы будем сталкиваться с непотребством, называемым стилем и подписью. Под влиянием монахов-иезуитов с Запада у некоторых китайских мастеров появилось желание ставить на рисунках свою подпись и иметь собственный стиль. Поскольку все это дошло и до нас, я расскажу вам три интересные истории.

Три истории о стиле и подписи

Алиф²

Когда-то в горной крепости на севере Герата жил молодой хан, горячий поклонник миниатюры. Из женщин своего гарема хан любил лишь одну. Несравненная красавица татарка отвечала хану взаимностью. Они проводили вместе жаркие ночи, были безмерно счастливы и мечтали, чтобы счастье длилось вечно. Днем они наслаждались тем, что часами рассматривали работы великих старых мастеров.

1. Бакшиш – чаевые.

2. Алеф – буква арабского алфавита.

Глядя на повторяющиеся великолепные рисунки к одним и тем же сюжетам, они чувствовали, что время останавливается, а их счастье сливается со счастливым временем золотого века миниатюры. В художественной Мастерской хана был талантливый художник, который идеально копировал рисунки старых мастеров. Рисуя страдания влюбленного в Ширин Фархада или восхищенные взгляды, которыми обменивались Меджнун и Лейла или Хосров и Ширин в сказочном, похожем на райский, саду, художник по обычаю изображал хана и татарскую красавицу. Глядя на эти рисунки, хан и его возлюбленная верили, что счастье их никогда не кончится, и осыпали художника похвалами и золотом. Чрезмерные восхваления и богатство вскружили голову художника, он загордился – ведь шайтан не дремлет. Забыв, что своими идеальными рисунками он обязан старым мастерам, художник решил внести в рисунок что-то новое, свое. Но хану и его возлюбленной не понравились новшества мастера. Внимательно разглядывая рисунок, хан увидел что-то непривычное в облике красавицы татарки и решил, что она разлюбила его. Чтобы вызвать ревность возлюбленной, он провел ночь с другой невольницей. Красавица татарка, узнав эту новость от сплетниц в гареме, впала в отчаяние и повесилась на ветке кедра. Хан понял, что совершил ошибку, что художник просто хотел показать свой стиль. В тот же день он приказал ослепить художника, поддавшегося соблазну шайтана.

Ба¹

В одной восточной стране жил старый могущественный падишах, большой любитель рисования; он женился на молодой красавице китаянке и был с ней счастлив. Молодая китаянка нравилась сыну падишаха от прежней жены, да и ей приглянулся красивый юноша. Сын испугался, что предаст отца, устыдился своей любви, заперся в мастерской и занялся рисованием. Поскольку сердце его было переполнено любовью и печалью, рисунки получались столь прекрасными, что их порой не могли отличить от работ старых мастеров, и падишах-отец очень гордился сыном. Молодая жена-китаянка, глядя на какой-нибудь рисунок, говорила: «Это прекрасно! Но если он не поставит подпись, то пройдет время, и никто не будет знать, что это его работа». «А если мой сын поставит подпись, не будет ли это означать, что он присвоил рисунок, который скопировал с работ старых мастеров?» – отвечал ей падишах.

1. Ба – буква арабского алфавита.

– К тому же не будет ли подпись означать, что он претендует на собственный стиль?» Поняв, что ей не убедить старого мужа, молодая и красивая мачеха нашла способ донести мысль о подписи до юноши, запершегося в мастерской. Юноша, страдавший оттого, что вынужден был похоронить свою любовь, поддался соблазну и, подстрекаемый шайтаном, в уголке одного из рисунков, в совершенно, как он считал, незаметном месте, там, где была нарисована трава, поставил подпись. Первый подписанный им рисунок изображал эпизод из дестана «Хосров и Ширин». Вы знаете: после того как Хосров и Ширин поженились, сын Хосрова от первого брака Шируйе влюбился в Ширин. Ночью он пробрался через окно в родительскую опочивальню и вонзил кинжал в печень отца, спящего рядом с Ширин. Глядя на этот рисунок, выполненный сыном, старый падишах увидел, что перед ним что-то необычное, он даже разглядел подпись, хотя не придавал этому значения. Старого падишаха взволновало то, что рисунок был не такой, как у старых мастеров. Это могло означать, что он читает не историю, не легенду, а правдивое повествование, которого не было в известной книге. Старик испугался. А сын-художник ночью подобрался к отцу и, не глядя в его расширившиеся от страха глаза, вонзил в него кинжал, такой же большой, как на рисунке.

Джим¹

Двести пятьдесят лет назад самым любимым и почитаемым искусством в Казвине было искусство работы над книгой – каллиграфия и миниатюра. Возможно, именно в любви к миниатюре заключалась тайна могущества шаха, сидевшего в те времена на троне Казвина и управлявшего сорока странами от Византии до Китая. К несчастью, у шаха не было сына. Чтобы после его смерти завоеванные им страны не откололись от его империи, надо было посадить на трон наследника, и шах решил поскорее выдать свою красавицу дочь за умного художника, для чего устроил состязание на лучший рисунок между тремя молодыми талантливыми мастерами из своей художественной мастерской. условия состязания были очень просты: кто сделает лучший рисунок, тот и сядет на трон! Молодые художники, все трое, нарисовали самый любимый шахом эпизод: прекрасный, как рай, сад, и в нем среди тополей и кедров, пугливых кроликов и летающих ласточек печальная влюбленная красавица с опущенным взором.

1. Джим – буква арабского алфавита.

Все три мастера не сговариваясь выполнили рисунок в манере старых мастеров. Один, тот, который особенно хотел, чтобы его отметили, не удержался и в незаметном месте среди нарциссов спрятал свою подпись. Это был вызов скромным старым мастерам, и выскочка тут же был сослан в Китай. Между двумя оставшимися мастерами устроили новое состязание. На этот раз оба мастера сделали замечательные, поэтические рисунки, изображавшие красивую девушку на белом коне в прекрасном саду. Один из мастеров не совсем обычно изобразил ноздри белой лошади, на которой сидела девушка, похожая на китаянку. Отец и дочь сразу заметили этот изъян. Так художник выделил свой рисунок. «Изъян – зеркало стиля», – сказал шах и отправил мастера в Византию. В те дни, когда готовилась свадьба дочери шаха с третьим талантливым художником, рисующим без подписи, без нововведений, точно так, как старые мастера, произошло еще одно событие: накануне свадьбы невеста весь день рассматривала рисунок, сделанный художником, который завтра станет ее мужем. Когда настал вечер, она пришла к отцу и сказала: «Старые мастера изображали красавиц похожими на китаянок, это неизменное правило, пришедшее с Востока. Но когда они влюблялись в кого-то, они обязательно оставляли на рисунке какой-либо след своей возлюбленной – брови, глаза, губы, волосы, улыбку. Эти отступления от нормы были понятны только двоим: влюбленному художнику и его любимой. Я весь день смотрела сегодня на красавицу, сидящую на лошади, в ней нет ничего от меня. Отец, этот художник – большой мастер, он молод и хорош собой, но он не любит меня...» Шах отменил свадьбу.

– Из третьего рассказа следует, что отступление от нормы и есть то, что называют стилем, – вежливо и почтительно сказал Кара. – Он рождается из тайных посланий художника к его возлюбленной?

– Нет, – решительно возразил я, – в конце концов отступление становится правилом. Спустя некоторое время молодые художники, копируя мастера, начинают рисовать лица девушек такими, какими рисовал он.

Первый рассказ говорит о нарушении стиля. Второй – о том, что идеальный рисунок не требует подписи. А третий объединяет оба рассказа и показывает, что подпись и стиль – это всего-навсего бесстыдная и глупая похвальба. Вот ты услышал от меня три истории, ты хоть понял теперь, кто я?

– Понял, – ответил Кара не очень уверенно.

Чтобы вы не пытались смотреть на меня его глазами, я вам сам объясню, кто я такой. Я могу все. Я могу нарисовать рисунок и нанести на него краску, как старые мастера Казвина. Говорю вам с уверенностью: я лучше всех. И если моя догадка верна, причиной прихода сюда Кара стало исчезновение Зарифа-эфенди, но я к этому не имею никакого отношения.

Кара все-таки не удержался:

– Не знаешь ли ты случайно, где может быть несчастный Зариф-эфенди?

«Несчастный?! Жалкий ремесленник, даже позолоту наносит исключительно ради денег; осел, не ведающий вдохновения». Но этого я не сказал. Я сказал:

– Нет. Не знаю. Тогда он спросил:

– Не думаешь ли ты, что с Зарифом-эфенди могли расправиться люди проповедника из Эрзурума?

Я не стал ему говорить, что Зариф – один из них. Я сказал:

– Нет. С чего бы?

МЕНЯ НАЗЫВАЮТ ЛЕЙЛЕК

Было время обеденного намаза. В дверь постучали, смотрю: знакомый мне с детства Кара. Мы обнялись. Он замерз, я впустил его, даже не спросив, как он нашел мой дом. Он сказал, что его послал Эниште, чтобы узнать от меня, почему пропал Зариф-эфенди и где он находится. Кроме того, он передал привет от мастера Османа и тут же добавил, что у него есть ко мне вопрос: мастер Осман считает, что настоящего художника определяет время. Что я об этом думаю? Слушайте.

Три истории о художнике и времени

Алиф

В Багдаде, который триста пятьдесят лет назад в холодный февральский день был захвачен и безжалостно разграблен монголами, жил великий каллиграф Ибн Шакир, известный не только в арабских; но и во всех других исламских странах; несмотря на то что мастер был молод, в знаменитых на весь мир библиотеках Багдада хранилось двадцать два тома переписанных им книг, большинство из которых были списками Корана. Ибн Шакир верил, что книги его доживут до Судного дня, он ощущал бесконечность времени.

Солдаты монгольского хана Хулагу¹ за несколько дней разорвали, сожгли, уничтожили, бросили в Тигр все замечательные книги, включая последнюю, над которой мастер стоически трудился много ночей при свете дрожащей свечи. Ибн Шакир работал, сидя спиной к востоку и посматривая на запад, на горизонт; в час утренней прохлады он поднялся на минарет мечети Халифа – именно так на протяжении пяти веков арабские каллиграфы давали отдых глазам. С балкона минарета он увидел конец пятивековой книжной традиции: безжалостные воины Хулагу вступили в Багдад, а Ибн Шакир стоял наверху и наблюдал, как грабили и разрушали город, рубили саблями людей, как убили последнего из исламских халифов, правивших в Багдаде пятьсот лет, как насиловали женщин, громили библиотеки, как выбросили в Тигр десятки тысяч томов. Глядя на воды Тигра, окрасившиеся в красный цвет чернил, смытых с брошенных в реку книг, он подумал, что не смог остановить ужасное уничтожение и разрушение. Книги, которые он писал таким красивым почерком, были уничтожены. Ибн Шакир поклялся, что никогда больше не будет писать. Увиденную трагедию и боль ему захотелось выразить искусством рисунка, которое он до тех пор не уважал, считая его бунтом против Аллаха. На листе бумаги, который неизменно находился при нем, он нарисовал то, что увидел с минарета. Так после монгольского нашествия появился настоящий исламский рисунок, непохожий на рисунки идолопоклонников и христиан; на этом рисунке с высоты линии горизонта вселенная была нарисована такой, как ее видит Аллах. Потом Ибн Шакир отправился в ту сторону, откуда пришло монгольское войско, и научился рисовать так, как рисовали китайские мастера. Идея бесконечности времени, в которую арабские каллиграфы верили пятьсот лет, воплотилась не в тексте, а в рисунке. Действительно, люди рвут, рассыпают книги, со страниц исчезают рисунки, но потом они появляются в новых книгах, живут бесконечно и продолжают показывать, какова вселенная Аллаха.

Ба

Все повторяется, а потому человек, хотя и умирает, не замечает хода времени; художники рисуют одни и те же рисунки к одним и тем же историям, как будто времени не существует.

1. Хулагу-хан – внук Чингисхана, основатель монгольской династии хулагуидов, правил в 1256-1265 гг.

Как написано в краткой истории Салима из Самарканда, маленькая армия правителя Фахир-шаха одержала победу над воинами Селяхаттин-хана. Согласно обычаю, победитель Фахир-шах, взяв в плен Селяхаттин-хана, убил его, а потом, чтобы утвердить свое владычество, посетил библиотеку и гарем покойного. Опытный книжный мастер Фахир-шаха стал раздирать книги мертвого хана, менять местами страницы и делать новые книги: писцы заменяли слова «непобедимый Селяхаттин-хан», на «победитель Фахир-шах», а художники стирали уже начавшее забываться изображение Селяхаттин-хана, а на стертых местах рисовали более молодого Фахир-шаха. В гареме побежденного Фахир-шах нашел самую красивую из женщин; будучи человеком умным, он не стал принуждать ее и брать силой, а решил завоевать ее сердце интересным разговором. Жена покойного Селяхаттин-хана, красавица Нериман Султан, со слезами на глазах обратилась к Фахир-шаху, которому предстояло стать ее мужем, с единственной просьбой. Она попросила, чтобы в книге, рассказывающей о любви Лейлы и Меджнуна, не трогали рисунок, на котором Лейла была изображена как Нериман Султан, а рядом с ней Меджнун как ее покойный супруг. Свою просьбу она объяснила так: по заказу ее бывшего мужа, стремившегося обрести бессмертие, сделано столько книг, что надо оставить хотя бы одно его изображение. Победитель Фахир-шах великодушно удовлетворил это желание, и художники не притронулись к рисунку. Нериман и Фахир-шах со временем полюбили друг друга и, казалось, забыли о страшном прошлом. Но Фахир-шаху не давал покоя тот рисунок в книге о Лейле и Меджнуне. Его не беспокоило, что Нериман была изображена с прежним мужем, и не терзала ревность. Его мучила мысль, что в той прекрасной книге о старинной легенде изображен не он и потому не он останется в вечности. Пять лет грыз его душу червь сомнения, и вот как-то ночью, когда Нериман уснула, он взял свечу, тайно, как вор, пробрался в собственную библиотеку, открыл книгу о Лейле и Меджнуне и попытался вместо покойного мужа Нериман нарисовать себя. Но, как многие ханы, любители рисунка, он был плохим художником. Смотритель библиотеки, проверявший книгу, обнаружил, что на месте Селяхаттин-хана, сидящего напротив Лейлы-Нериман, появился кто-то другой, и объявил, что это – главный враг Фахир-шаха, молодой и красивый Абдуллах-шах, правитель соседней страны. Эти слухи дошли до Абдуллах-шаха, он пошел на Фахир-шаха войной, в первой же битве нанес ему поражение, взял его в плен, убил, забрал, как водится, его библиотеку и га-

рем, и у нестареющей Нериман Султан появился новый муж.

Художники любят рассказывать о мастере Узун Мехмете из Стамбула, которого в стране персов называют Мухаммедом из Хорасана; долгая жизнь и слепота – хорошая иллюстрация к теме «художник и время». Узун Мехмет начал рисовать с девяти лет, трудился почти сто десять лет, пока не ослеп, и его стилем было отсутствие стиля. Это – не игра слов, а похвала. Он рисовал всё, как все, точно повторяя стиль старых великих мастеров, и именно поэтому был великим мастером. Узун Мехмет был скромен и беззаветно предан искусству миниатюры, которое считал служением Аллаху. Он ни с кем не враждовал, не участвовал в интригах; в мастерских, где он работал, никогда не стремился стать Главным художником, хотя возраст для этого у него был вполне подходящий. Он был счастлив и Очень молчалив. Он никогда не пытался создать свой стиль. Очередную мастерскую какого-нибудь хана или наследника, где он работал, он считал своим домом, а себя – принадлежностью этого дома. Про него говорили, что он живет вне времени, никогда не состарится и не умрет. Прославленный мастер ни разу не был женат и никого не любил. И вот, когда ему было уже сто девятнадцать лет, он встретил в мастерской шаха Тахмаспа¹ шестнадцатилетнего подмастерья, полукитайца, полухорвата, живой образец мужской красоты, луноликого юношу, как раз такого, какого он рисовал все сто лет; мастер влюбился в него с первого взгляда и, чтобы заслужить любовь красавца ученика, включился в борьбу за власть в мастерской, стал лгать, строить козни. Он “окунулся в суету, держаться в стороне от которой ему удавалось в течение ста лет, и перестал быть олицетворением старого доброго времени. Однажды он наблюдал за красавцем учеником у окна на холодном ветру и на следующий день стал чихать и ослеп, а еще через два дня упал с высокой каменной лестницы мастерской и умер.

– Какова мораль рассказанных тобою трех рассказов? – спросил Кара.

– Из первого рассказа следует, что, как бы ни был талантлив художник, безупречность его работы определяет время. Второй показывает, что только талантливый рисунок может преодолеть время. А в чем смысл третьего, пожалуй, скажи сам.

– Третий объединяет два первых – без промедления ответил Кара, – и доказывает, что, если художник отказывается от своей безупречной жизни и работы, его время кончается и он умирает.

1. Шах Тахмасп (1514–1576) – иранский шах.

МЕНЯ НАЗЫВАЮТ ЗЕЙТИН

Было время послеобеденного намаза; я с легкостью водил кистью, рисуя красивых мальчиков, когда в дверь постучали. Я отложил кисть.

Снял рабочую доску с колен, пристроил в углу, подбежал к двери и, прежде чем открыть ее, прочитал молитву. О Аллах... Не буду скрывать от вас: вчера ко мне приходили люди индийского шаха, самого богатого повелителя вселенной, Акбар-хана: он хотел, чтобы для него создали невиданную книгу, и разослал весть во все исламские страны, приглашая к себе лучших художников. Гонцы Акбар-хана, посланные в Стамбул, вчера передали приглашение в Индию и мне. Я открыл дверь, но это были не они, а знакомый мне с детства Кара. Раньше он не подходил к нам, завидовал. Чего ему надо?

Оказывается, он пришел поговорить, вспомнить былую дружбу, посмотреть мои работы. Я пригласил его, пусть видит все, что у меня есть. Он, по его словам, только что был в мастерской, приложился к руке главного художника Османа. Великий мастер высказал мудрые суждения о том, как по-настоящему можно оценить художника, говорил о слепоте и памяти. Что думаю об этом я? Что ж, слушайте.

Слепота и память

До того как люди начали рисовать, была тьма. Когда они перестанут рисовать, тоже будет тьма. С помощью красок, таланта и любви мы напоминаем, что Аллах повелел нам смотреть и видеть. Помнить – это знать увиденное. Знать – это помнить увиденное. Видеть – это знать, не вспоминая. Получается, что рисовать – это значит вспоминать тьму.

Три истории о слепоте и памяти

Алиф

Когда-то в художественной мастерской правителя Каракойюнулу¹ Джихан-шаха² прославленный мастер Шейх Али из Тебриза сделал превосходные иллюстрации к книге «Хосров и Ширин».

1. Каракойюнулу – конгломерат туркменских племен на северо-востоке Анатолийского полуострова.

2. Джихан-шах (1405–1467) – правитель Каракойюнулу, при котором государство имело наибольшую, территорию.

Когда работа была сделана едва наполовину, Джиханшах уже понял, что станет обладателем книги, равной которой нет в мире. Джиханшах боялся своего соседа, молодого правителя Аккойюндлу¹ Узун Хасана², которому он завидовал и потому объявил его своим главным врагом. Джиханшах подумал, что Шейх Али может сделать новую книгу, еще лучше этой, а заказчиком вполне может стать Узун Хасан. Счастье Джиханшаха отравляла мысль, что кто-то другой может быть так же счастлив, как он, и решил убить Шейха Али, когда работа над книгой будет закончена. Но добросердечная красавица черкешенка из его гарема сказала ему, что достаточно ослепить мастера. Джиханшах согласился с этим и сообщил свою волю приближенным. Решение шаха дошло до Шейха Али, но он не бросил работу над книгой и не покинул Тебриз. Художник не стал медлить с работой, чтобы оттянуть миг своего ослепления, и не пытался рисовать плохо. Вдохновение и усердие его не ослабли. Наконец книга была закончена, и, как и ожидал мастер, его сильно хвалили, осыпали золотом, а потом ослепили. Еще не прошла боль в глазах, а художник уже явился к Узун Хасану. «Я слеп, – сказал он, – но вся красота книги, которую я делал последние одиннадцать лет, каждый удар кистью и пером настолько запечатлелись в моей памяти, что рука моя может все нарисовать по памяти. Мой господин, я нарисую тебе самую лучшую книгу. Я не вижу больше мерзостей этого мира и могу по памяти изобразить для тебя все красоты Аллаха». Узун Хасан поверил великому художнику, и тот по памяти нарисовал для него лучшую книгу всех времен. Вдохновившись этой книгой, Узун Хасан пошел войной на Джиханшаха, разгромил его армию и убил его. А некоторое время спустя в битве при Отлукбели³ Узун Хасан был побежден Фатихом Султаном Мехметом⁴», и обе книги – первая и вторая – оказались в сокровищнице нашего падишаха. Кто видел, тот знает.

Ба

После смерти повелителя вселенной Тимура⁵ его сыновья и внуки перессорились и вели между собой жестокие войны; завоевывая города друг друга, они первым делом печатали монету со своими именами и читали благодарственные молитвы,

1. Аккойюндлу – конгломерат турк. племен на севере Анатолийского полуострова.

2. Узун Хасан (1423-1478) - правитель Аккойюндлу.

3. Отлукбели – город на северо-востоке Анатолийского полуострова.

4. Фатих Султан Мехмет (1432–1481) – турецкий султан.

5. Тимур (Тамерлан) (1336–1405) - среднеазиатский государственный деятель, полководец, эмир.

а потом просматривали доставшиеся им книги, раздирали их, меняли местами страницы, заново переплетали, и появлялись новые тома, где были обозначены новые посвящения, заказанные очередными повелителями вселенной, жаждущими остаться в истории. Когда сын Улугбека¹ Абуллатиф захватил Герат, он решил быстренько сделать книгу в честь отца, для чего собрал художников, каллиграфов, переплетчиков и очень торопил их с работой; в результате получилась путаница: рисунки и тексты не соответствовали друг другу. Абуллатиф повелел собрать всех художников Герата, чтобы они определили, какой рисунок к какой истории относится. Но мнения мастеров не совпадали, и все запуталось еще больше. Тогда разыскали совсем старого художника, который пятьдесят четыре года делал книги для правителей Герата и их наследников, потом состарился и был забыт. Старый мастер был слеп, и когда он появился, кто-то удивился, а кто-то засмеялся. Мастер, не обращая внимания на окружающих, попросил привести ребенка младше семи лет, не умеющего читать. Ребенка привели. Старый мастер положил перед ним рисунки и велел рассказывать, что он видит. Ребенок рассказывал, что изображено на рисунках, а старый художник, подняв незрячие глаза к небу, говорил: «Шах-наме» Фирдоуси, Искендер обнимает умершую Дару. «Гулистан» Саади, рассказ об учителе, влюбленном в юного ученика... Узнавая рисунки по описанию ребенка, старик помог правильно разместить их в книге. Улугбек, сам прибывший в Герат со своим войском, спросил старика, как он не видя сумел все правильно определить. «С потерей зрения крепнет память, – сказал старый художник, – а еще рассказы запоминаются не только по картинкам, но и по словам». Улугбек спросил, почему же другие мастера-художники не справились с задачей, хотя тоже знают все рассказы. «Это потому, – сказал старый мастер, – что они думают только о рисунке, искусстве, где сами обладают талантом, но забывают, что старые мастера делали эти рисунки к рассказам, написанным по воле Аллаха». Улугбек спросил: как же это может знать ребенок? «Ребенок не имеет об этом представления, – ответил старик, – просто я, старый и слепой художник, знаю, что Аллах создавал мир таким, каким его хотел бы видеть умный семилетний ребенок. Аллах создавал мир так, чтобы сначала его можно было видеть. А потом дал нам слова, чтобы мы могли поделиться увиденным, но мы из этих слов сделали истории и считали, что рисунок существует как дополнение к этим историям. Хотя на самом деле рисовать – это значит искать Аллаха и видеть вселенную такой, как видел он».

1. Улугбек (1394–1449) – государственный деятель, ученый, просветитель; внук Тимура.

Джим

Художники всегда боялись слепоты и старались разными способами предупредить ее: например, арабские Мастера на рассвете подолгу смотрели на запад, на горизонт; большинство художников Шираза по утрам натощак ели грецкий орех с толчеными лепестками роз. Сейит Мирек из Герата, учитель великого мастера Бехзада, относился к слепоте просто. Он считал, что слепота – это не беда, а счастье, посланное Аллахом художнику за то, что он всю жизнь посвятил красоте, созданной Всевышним. Только по памяти слепого художника можно понять, какой Аллах видит вселенную. Мастер Сейит Мирек привел пример с художником, желающим нарисовать лошадь. Даже самый бездарный художник, когда рисует лошадь, глядя на нее, все равно рисует по памяти, потому что нельзя одновременно смотреть на лошадь И на бумагу, на которой ее изображают. Художник смотрит на лошадь, а потом то, что запомнил, наносит на бумагу, даже если между этими двумя действиями проходит всего один миг. Когда великому мастеру Миреку исполнилось семьдесят лет, султан Хюсейн Байкара¹ в качестве награды великому мастеру открыл перед ним закрытую на много замков сокровищницу, где хранились тысячи книг. Три дня и три ночи мастер Мирек при свечах рассматривал в легендарных книгах изумительные миниатюры, нарисованные старыми мастерами Герата. После этого он ослеп. Приняв новое состояние с пониманием и покорностью, великий мастер перестал разговаривать и рисовать. Художник, увидевший несравненные картины бесконечного времени Аллаха, не может вернуться к книжным страницам, сделанным для простых смертных; если память слепого художника достигает Аллаха, воцаряется безмолвие, счастливая темнота и бесконечность пустых страниц.

Я, конечно, понимал, что Кара задал мне вопрос мастера Османа о слепоте и памяти не столько для того, чтобы услышать мой ответ, сколько для того, чтобы спокойно осмотреться среди вещей и рисунков в моей комнате. И все же мне было приятно видеть, как внимательно он вникает в то, что я рассказываю. Я сказал ему;

– Слепота – это счастливая вселенная, где нет места шайтану и преступлению.

1. Султан Хюсейн Байкара (1438–1506) – последний крупный правитель династии Тимуридов.

МЕНЯ ЗОВУТ ЭСТЕР

Столько лет занимаюсь торговлей и сватовством, а не знаю ответа на вопрос: любовь делает людей глупыми или только глупые влюбляются? Наш Кара-эфенди не владеет собой и не может скрыть своих чувств, когда разговаривает о Шекюре даже со мной.

Он дал мне письмо и попросил срочно доставить Шекюре. Я пошла переулками, с трудом передвигаясь по непролазной грязи. Дошла до нужного мне дома и закричала:

– Разносчица!

Дверь открылась, я вошла. Здесь, как обычно, пахло не застланной постелью, разогретым маслом, влагой – неприятный запах холостяцких домов.

– Чего кричишь, старая карга? – набросился на меня Хасан. Я молча протянула письмо. Он быстро схватил его.

– Ну, чего он там написал? – спросила я. Хасан прочитал:

«Уважаемая Шекюре-ханым, я тоже много лет жил с мечтой об одном человеке и поэтому понимаю и ценю, что ты ждешь мужа и не думаешь ни о ком, кроме него. Но я пришел к твоему отцу по делу, а вовсе не для того, чтобы тревожить тебя. Я и подумать не смел, что получу от тебя какой-либо знак. Когда в окне, как свет, показалось твое лицо, я воспринял это только как благосклонность ко мне Аллаха. Потому что мне достаточно счастья видеть твое лицо. («Это он позаимствовал у Низами», – язвительно отметил Хасан.) Но ты пишишь, чтобы я к тебе не приближался, скажи, разве ты ангел, что к тебе и приблизиться опасно? Ты вернула нарисованный когда-то мной рисунок. Для меня это знак того, что я нашел тебя. Не знак смерти. Я видел Орхана, одного из твоих сыновей. Бедный сирота. Я буду ему отцом!»

– Здорово написал, – сказала я, – прямо настоящий поэт.

– Разве ты ангел, что к тебе и приблизиться опасно, – повторил Хасан. – Эти слова он украл у Ибн Зерхани¹. Я могу лучше написать. – Он вынул свое письмо из кармана. – Отнеси это Шекюре и скажи ей, мы насильно приведем ее домой решением кадия.

– Так и сказать?

Хасан промолчал.

Я с радостью покинула мрачный и тоскливый дом. На улице вроде стало теплее. Я подумала, что мне хотелось бы видеть Шекюре счастливой. Хотя мне и жаль несчастного грубияна из холодного, неуютного дома.

1. Ибн Зерхани – вымышленное автором лицо.

Шекюре взяла письма и спросила про Кара. Я сказала, что любовный огонь нещадно сжигает его, ей это понравилось.

– Все, включая женщин, что не выходят из дома, говорят о гибели бедного Зарифа-эфенди, – переменяла я тему.

– Хайрие, сделай халву и отнеси Кальбие, жене Зарифа-эфенди, – велела Шекюре.

– На похороны придут все эрзурумцы, будет очень много народу, – сообщила я. – Родственники говорят, что кровь мастера не останется неотмщенной.

Когда Шекюре дочитала письмо и улыбнулась мне, я, чтобы сделать ей приятное, спросила:

– Что пишет?

– Как в детстве... Влюблен в меня.

– А ты?

– Я замужем. Жду мужа.

– А другой что пишет? – спросила я.

– Не хочу сейчас читать письмо Хасана. Хасан знает, что Кара вернулся в Стамбул?

– Даже не подозревает об этом.

– Ты с Хасаном разговариваешь? – спросила моя красавица, раскрыв свои черные глаза.

– Приходится ради тебя.

– Ну и как он?

– Страдает. Он тоже очень любит тебя. Даже если твое сердце отдано другому, трудно будет тебе избавиться от Хасана.

Я – ШЕКЮРЕ

Я перечитала письмо Хасана и снова подумала: от него ничего хорошего ждать не приходится. Только стала еще больше бояться его и в очередной раз порадовалась, что сумела противиться его приставаниям, когда мы жили под одной крышей. Потом внимательно прочла письмо Кара, держа его осторожно, как хрупкую вещь, которая может разбиться.

«Такой скверной женщине, как я, нужно выйти замуж за хорошего человека» – с этой мыслью я вошла к отцу.

– Когда наш Всемилостивейший Падишах увидит законченную книгу, он наградит вас, – сказала я. – Вы снова поедете в Венецию.

– Не знаю, – отозвался отец, – меня напугало это убийство. У нас сильные враги.

– Мое двусмысленное положение тоже придает им смелости,

вызывает неверные толки. Мне следует поскорее выйти замуж.

– Что? – вскричал отец. – За кого? Ты ведь замужем.

– Вчера во сне я видела, что мой муж умер, – сказала я. – Но я не плакала, как положено женщине, увидевшей такой сон.

– Сон надо уметь читать, так же как рисунок.

– Можно я расскажу вам свой сон?

Наступило молчание, и мы улыбались друг другу, как люди, которые лихорадочно обдумывают сказанное, ища достойный ответ.

– Я могу истолковать твой сон и поверить, что он умер, но твой свекор и деверь, как и кадий, потребуют других доказательств.

– Прошло больше двух лет, как я с детьми вернулась сюда, но свекру и деверю не удалось увести меня обратно. И разве не вы говорили, что мне надо оформить развод, чтобы избавиться от приставаний деверя?

– Я не хочу, чтобы ты покидала меня. Твой муж может вернуться. А если и не вернется, я хочу, чтобы ты с новым мужем жила в этом доме. Главное, чтобы ты была здесь, со мной.

– Мое единственное желание – жить здесь и с вами.

– Я согласен принять зятя, который не увезет тебя в далекие края. Про кого ты говоришь? Он бывает в нашем доме?

Я смотрела в пол и молчала.

Потом пошла в боковую комнату, окно которой, выходящее на колодец, никогда не открывалось, в темноте на ощупь развернула свою постель¹ и бросилась на нее. Когда меня обижали в детстве, я вот так зарывалась в постель и рыдала, пока не засыпала.

Я – ЭНИШТЕ

Трудно быть отцом взрослой дочери. Слушая рыдания Шекюре, я перелистывал книгу о преображениях и воскресении: через три дня после смерти человека, читал я, душа, испросив разрешение Аллаха, отправилась навестить тело, в котором раньше пребывала. Увидев на кладбище тело, окровавленное, лежащее в грязной воде, душа огорчилась: «Бедное мое тело, мое любимое тело, в котором я обитала». Я подумал о печальном конце Зарифа-эфенди. Может, и его душа огорчилась, увидев тело, только не на кладбище, а в заброшенном колодце.

1. Постели стелились на полу, а днем сворачивались.

Когда рыдания Шекюре затихли, я отложил книгу. Надел еще одну шерстяную рубашку, шаровары на кроличьем меху, крепко обвязался поясом из козьего меха и вышел из дома. У калитки увидел Шевкета.

– Дед, ты куда?

– На похороны. Иди домой.

Я не знаю, почему поминальную службу устроили в квартале Эдирнекапы, в мечети Михримах. Добравшись до места, я обнялся с братьями покойного, они казались несколько растерянными, были молчаливы и суровы. Поплакал с художниками и каллиграфами. Совершая намаз, я посмотрел на носилки с телом покойного, стоящие на каменной плите, и вдруг так разозлился на негодея, совершившего это злое дело, что даже сбился с заупокойной молитвы.

После намаза, когда подняли носилки на плечи, я стоял среди художников и каллиграфов. Со слезами на глазах мы обнялись с Лейлеком, забыв, как по ночам, когда мы работали над книгой, он убеждал меня в отсутствии вкуса у Зарифа-эфенди: чтобы рисунок выглядел богаче, тот повсюду добавлял синей краски – а я понимал, что Лейлек прав, и говорил: «Ну нет людей». Мне понравилось, как дружески и уважительно смотрел на меня Зейтин, а потом обнял: человек, умеющий обнимать, – хороший человек; я в который раз подумал, что он больше других верит в мою книгу.

На лестнице у мечети мы столкнулись с Главным художником мастером Османом и оба растерялись.

Мастер Осман, конечно, был обижен на то, что падишах поручил изготовление книги, которую я называю «тайной», мне, а не ему. Под моим влиянием у падишаха появился интерес к европейской манере рисования. Падишах даже заставил мастера Османа скопировать свой портрет, сделанный итальянским художником. Мастер Осман с отвращением выполнил волю падишаха, назвав подражание итальянскому художнику «пыткой»; он считал, что я виноват в этом. И был прав.

На середине лестницы я посмотрел на небо и стал дальше спускаться по скользким ступеням. Тут кто-то взял меня под руку. Это был Кара.

– Очень холодно, – сказал он. – Вы не замерзли?

Я не сомневался, что это он смутил покой Шекюре. Уверенность, с которой он взял меня под руку, подтверждала это. Своим поведением он словно говорил: разве вы не видите, двенадцать лет я работал, человеком стал. Лестница кончилась.

– Иди вперед, сынок. Иди, догони всех. Потом расскажешь, что узнал в мастерской.

Интересно, если я отдам за него Шекюре, будет он жить в нашем доме?

И вдруг меня осенило: убийца Зарифа-эфенди – один из работающих у меня художников, и сейчас он вместе с толпой поднимается впереди меня на холм к кладбищу. Я был уверен, что убийца будет продолжать свое злое дело, он – враг моей книги, хотя я даю ему работу.

Ко мне подошел Келебек.

– Я прекращаю работу над книгой, – сообщил я ему.

– Как это? – удивился он.

– Несчастливая она. Да и падишах перестал платить. Скажи это Зейтину и Лейлеку.

Мы шли среди густых кипарисов, высокого папоротника и могильных камней. Он, наверно, еще что-нибудь спросил бы, но мы уже поднялись на холм. По тому, как стояла толпа, окружившая кладбище, по доносившимся молитвам и плачу я понял, что тело опускают в могилу.

МЕНЯ НАЗОВУТ УБИЙЦЕЙ

Когда изуродованный труп несчастного Зарифа-эфенди засыпали землей, я плакал громче всех. Я хочу умереть с ним, пустите меня, кричал я; меня держали, чтобы я не упал в могильную яму. По взглядам родственников покойного я понял, что слишком громко рыдаю и кричу, и взял себя в руки. Сплетники из мастерской могли подумать, что между мной и Зарифом-эфенди была любовная связь, раз я так убиваюсь.

Чтобы не привлекать больше внимания, я спрятался за чинарой и оттуда стал наблюдать за происходящим.

В годы ученичества каждое утро кто-то из нас шел домой к мастеру Осману и, как это было принято, сопровождал его до мастерской, неся коробку с перьями, сумку, бумагу. У мастера Османа был любимчик, но если бы домой к учителю ходил только он, это питало бы ходившие в мастерской сплетни и непристойные шутки, поэтому мастер решил, что каждый из нас будет приходить к нему в определенный день недели. Покойный Зариф был сопровождающим по средам, и потому его прозвище было Чаршамба. Потом мастер поменял нам прозвища: Салы (Вторник) стал Зейтином, Джума (Пятница) – Лейлеком, Пазар (Воскресенье) – Келебеком; эти имена он дал с любовью и значением, а покойного, намекая на изящество его раскрасок, он назвал Зариф (Изящный).

На кладбище воцарилось молчание, и мне показалось, что все смотрят на меня. Заплакать, что ли? Но глаза мои уперлись в Кара. Мерзавец присматривается ко всем нам и пытается внушить, что он тот самый человек, которому наш Эниште-эфенди поручил разобраться в этом деле.

– Кто мог совершить такую подлость, – вскричал старший брат покойного, – кто посмел поднять руку на нашего брата, который за всю жизнь и мухи не обидел?

Я искренне присоединился к общему плачу и попытался поискать ответ на заданный вопрос. Были ли враги у Зарифа? Если бы его не убил я, кто другой мог бы это сделать? Было время, когда некоторые художники упрекали его, что он плохими красками портит рисунки, над которыми мы столько работали. Потом на него, кажется, злились за изящество, тонкость манер и какую-то женоподобную благовоспитанность. Зариф был рабски привязан к старым методам, усердно следовал принятым правилам гармонии красок и рисунка. Он любил вежливо, но с иронией указать при мастере Османе на якобы существующие недостатки у других художников, особенно у меня. Последний скандал в мастерской начался из-за заказов, выполняемых художниками на стороне. Тема эта была очень неприятна для мастера Османа. В последние годы интерес падишаха к работе мастерской угас, денег, выделяемых Главным казначеем дворца, становилось все меньше, и художники начали подрабатывать как могли, в основном рисовали для невежественных богатых пашей; самые же талантливые по ночам ходили к Эниште.

Меня не обидело, что Эниште решил прекратить работу над нашей книгой под тем предлогом, что она принесла несчастье. Конечно, он предполагал, что Зарифа-эфенди убрал кто-то из нас, работающих над книгой. Если бы вы были на его месте, стали бы вы звать к себе домой на ночную работу убийцу? Или вы сначала попытались бы определить, кто убийца? Если бы Эниште надо было выбрать из нас одного, лучшего художника, я не сомневаюсь, что он предпочел бы меня. Причем не за мой большой талант, а потому, что во мне никак нельзя заподозрить убийцу.

Я – ЭНИШТЕ

Утром в пятницу я говорил с Кара о книге, где наш падишах будет изображен в европейской манере. Начал я с того, как убедил падишаха согласиться на такую книгу. Но моей главной целью было

поручить Кара написать к рисункам текст, за который я сам никак не мог взяться.

Писать уже можно было, так как большинство рисунков готовы, а последний – на стадии завершения. «Книга показывает вселенную нашего падишаха во всей полноте, – сказал я. – Лучшие художники мастерской сделали такие прекрасные рисунки, – заверил я Кара, – что, как только ты увидишь их, сразу поймешь, какой должен быть текст. Ты же знаешь, они всегда рядом: стихи и рисунок, цвет и слово».

Я задумался: пообещать, что отдам за него дочь? Будет ли он жить с нами в моем доме? Но тут же одернул себя: не смотри, что он слушает с таким вниманием, что у него такое детское выражение лица; он наверняка хочет сбежать с Шекюре. Однако, кроме Кара, у меня нет никого, кто мог бы закончить книгу.

Племянник вроде бы слушал меня, но в глазах его я видел нетерпение: он крутил монгольскую чернильницу, которую принес мне в подарок, брал железный прут и ворошил угли в очаге. Мне вдруг показалось, что он хочет убить меня, ударив этим прутом по голове. За то, что я отдалился от Аллаха. Предал традиции рисования, завещанные нам старыми мастерами Иерата.

Я стал показывать ему рисунки, которые за год тайно сделали для меня мастера-художники. Увидев вдохновенно выписанные сцены смерти из «Шах-наме»; отсечение Афрасиабом головы Сиявуша, убийство Сохраба Рустемом, не подозревающим, что убивает собственного сына, – Кара понял замысел книги. На рисунок, изображающий похороны Султана Сулеймана, выполненный в печальных тонах, я попытался пером нанести тени, как это делают европейские мастера. Я обратил внимание Кара на переплетения линии горизонта с очертаниями облаков, на необычное изображение смерти...

– Опиши этот рисунок, – попросил я. – Заставь смерть говорить, вот тебе бумага, вот чернила. Твой текст я сразу же отдам каллиграфу. Некоторое время он молча смотрел на рисунок. Потом спросил:

– Кто это нарисовал?

– Келебек. Он самый талантливый. Мастер Осман уже столько лет восхищается им.

Я положил новый лист.

– Похожий рисунок собаки, только более грубый, я видел в кофейне у меддаха, – сказал Кара.

– Художники, которые работают на меня, всей душой привязаны к мастеру Осману и мастерской и не верят в новые методы, кото-

рыми я прошу их рисовать. Я думаю, что, выйдя отсюда в полночь, они потом в кофейнях откровенно издеваются надо мной и тем, что рисуют ради денег.

Я показал Кара все рисунки, кроме последнего, незаконченного. Я уговаривал его написать текст, рассказывал о характерах художников, сказал, сколько денег я им заплатил. Я рассказал ему обо всем, даже о том, что мы с Зарифом-эфенди обсуждали, не противоречит ли религии использование перспективы с помощью уменьшающихся деталей на заднем плане, и что Зариф-эфенди любил деньги и, возможно, был убит из-за своей алчности.

Когда вечером Кара ушел домой, дав слово, что утром вернется, я не сомневался, что он будет работать над книгой. Стоя у раскрытой двери, я слушал затихающий звук его шагов, и было в холодной ночи нечто такое, что делало моего вероятного убийцу сильнее и хитрее меня.

МЕНЯ ЗОВУТ ЭСТЕР

Рано утром я положила в узел заказанную мне фиолетовую и красную ткань на одеяла, взяла голубой китайский шелк, доставленный недавно на португальском судне, а зеленый отложила в стору. Зима не собиралась отступать, поэтому я набрала шерстяных носков, толстых шерстяных поясов, разноцветных шерстяных жилетов и уложила их красиво, так, чтобы у самой равнодушной хозяйки дрогнуло сердце, когда я разверну перед ней узел. Подняла. У-ух, слишком тяжело. Позвоночник не выдержит. Опустила узел, стала смотреть, что бы выложить, и в этот момент в дверь постучали.

В дверях стояла продрогшая Хайрие. В руке письмо. Я снова уложила узел, взяла письмо и вышла из дома. На утреннем холоде наш еврейский квартал с домами-развалюхами выглядел совсем жалким. Дойдя до улицы, где жил Хасан, я остановилась у его дома и закричала во весь голос:

—Продаю!..

Дверь открыл отец Хасана, очень вежливый абхаз. Едва я успела вынуть письмо, как из темноты появился Хасан и схватил его. Я, как всегда, молча ждала. Он быстро пробежал глазами коротенькое письмо:

— Больше ничего нет? — спросил он, отлично понимая, что нет. И прочитал вслух:

«Кара-эфенди, ты приходишь к нам в дом и сидишь целый день. Но, как я слышала, ты пока ни строчки не написал для книги моего отца. У тебя нет никакой надежды, пока ты не закончишь книгу»

Держа письмо в руке, он смотрел на меня с укором, будто я была виновата в том, что происходит. Не люблю я этот дом.

– Она больше не пишет, что замужем, что муж вернется с войны, – сказал он. – Это почему?

– Откуда мне знать, – ответила я. – Не я же пишу эти письма.

– Что это за книга отца Шекюре?

– Ты разве не слышал? Говорят, падишах платит за нее.

– Я слышал, что художники, работающие над этой книгой, убивают друг друга. То ли из-за денег, то ли из-за того, что рисунки в ней не угодны Аллаху. Говорят, кто посмотрит на эти рисунки, тотчас ослепнет.

От Хасана я отправилась на улицу, где жил Кара.

Поскольку Шекюре не написала о возвращении мужа, а слова «никакой надежды» связала с определенным условием, Кара, конечно, вправе надеяться. Я с интересом следила за тем, как он читал письмо. Радость на его лице сменилась беспокойством, даже страхом.

Выйдя из дома, я открыла кошелек, который дал мне Кара; там было двенадцать акча и письмо. Меня мучило любопытство, и я заторопилась к Хасану. Перед лавкой зеленщика были разложены капуста, морковь, огромный лук-порей, которые, казалось, звали: смотри, выбирай, но мне было не до овощей.

Пока Хасан разворачивал письмо, я сгорала от нетерпения: «Ну? Что там?» Он прочитал:

«Душа моя, Шекюре, ты хочешь, чтобы я закончил книгу твоего отца. Знай, что у меня нет никакой другой цели. Именно для этого я прихожу к вам в дом, а не для того, чтобы беспокоить тебя, как уже писал тебе. Я прекрасно понимаю, что моя любовь к тебе - это мое личное горе. Но из-за этой любви я никак не могу написать то, что хочет твой отец, мой Эниште, для своей книги. Как только я чувствую твое присутствие в доме, я замираю и не могу помочь твоему отцу. Этому одна причина: через двенадцать лет я лишь однажды видел твое лицо в окне и очень боюсь забыть это видение. Если бы я еще раз увидел твое лицо вблизи, я перестал бы беспокоиться и легко закончил книгу твоего отца. Шевкет вчера водил меня в дом повешенного иудея. В этом пустом доме нас никто не увидит. Приходи туда сегодня, когда тебе удобно, я буду ждать. По

словам Шевкета, ты видела во сне, что твой муж умер».

– Я знаю, какой Шевкет умный и сообразительный, ведь мы столько лет жили вместе! Без разрешения, более того, настояния матери Шевкет не повел бы Кара в дом повешенного иудея. Но напрасно Шекюре надеется вычеркнуть из своей жизни моего брата и нас! Мой брат жив и вернется с войны. А Шекюре будет наказана, если перестанет ждать его. – С этими словами Хасан отдал мне письмо.

Я – ШЕКЮРЕ

– Моя черноглазая, красавица моя, счастье мое, я задержалась, потому что этот дармоед, мой муж Несим, никак не отпускал меня, – сказала Эстер. – Радуйся, что у тебя нет мужа-деспота,

Она выгатила письма. Взяв их, я повернулась спиной к Эстер, чтобы она не видела моего лица и прочла сначала письмо Кара. Подумав о доме повешенного иудея, невольно вздрогнула, но тут же успокоила себя: не пугайся, Шекюре, все будет хорошо, и стала читать второе письмо. Хасан был почти в бешенстве.

«Шекюре-ханым, я погибаю от любви к тебе, но тебе нет до этого дела. По ночам во сне я вижу себя на пустынном холме, мчащимся за твоим призраком. Я знаю, что ты читаешь мои письма, но, поскольку ты оставляешь их без ответа, в сердце моем живет постоянная боль. Пищу в надежде, что ответишь хоть на это письмо. По слухам, ты рассказываешь детям, что видела во сне, будто твой муж умер и ты теперь считаешь себя свободной. Не знаю, правда ли это. Но пока ты все еще - жена моего брата и тебе надлежит жить в нашем доме. Отец считает, что я прав, и сегодня мы идем к кадию, чтобы вернуть тебя домой. Мы пойдем не одни, а возьмем свидетелей, передай это своему отцу. Собирай вещи, ты возвращаешься домой. Срочно пришли ответ с Эстер».

Я посмотрела на Эстер и ничего не сказала; она поняла, что ответного письма не будет, поднялась и ушла.

Я открыла Коран, прочитала в честь покойного мужа суру «Семейство Имран», где говорится, что те, кто погибает, сражаясь за Аллаха, отправляются в рай, и немного успокоилась; Показал ли отец Кара неоконченный портрет падишаха? Отец говорил, что изображение властителя будет столь правдивым, что каждому, кто взглянет на него, будет казаться, что падишах смотрит ему прямо в глаза, и человек в страхе отведет взор.

Я позвала Орхана, усадила на колени, обняла, поцеловала в щеки:

– Сейчас ты пойдешь к деду и отдашь Кара бумажку, понял?

– У меня зуб шатается.

– Когда вернешься, я его вырву, если хочешь. А сейчас иди к Кара, он удивится, обнимет тебя, и ты тихонько отдашь ему бумажку.

– Я боюсь.

– Бояться нечего. Если не Кара, знаешь, кто хочет быть твоим отцом? Дядя Хасан! Ты хочешь, чтобы дядя Хасан был твоим отцом?

– Не хочу.

– Тогда иди, иди, мой умный сын. Иначе я рассержусь, а будешь плакать – рассержусь еще больше.

Когда Орхан вернулся, я обняла его, а потом мы спустились в кухню, и я набила ему рот его любимым изюмом.

Кара еще не ушел. Если я сейчас наткнусь на отца, то скажу, что иду с детьми за рыбой. Я спустилась по лестнице неслышно, как кошка.

Осторожно открыла и тихонько закрыла за собой дверь. Неслышно пересекла двор, у калитки приостановилась, выглянула из-под покрывала: наш дом показался мне чужим.

На улице никого не было. Кружились редкие снежинки. С опаской я вошла в сад, в который никогда не заглядывало солнце. Сгнившие листья пахли влагой и смертью. Но как только я оказалась в доме повешенного иудея, мне стало спокойней. По слухам, ночью здесь собираются джинны, они разжигают очаг и веселятся. Жутковато было слышать собственные шаги в пустом доме: я остановилась и замерла. В саду послышался шорох, но тут же опять воцарилась тишина.

Я уже начала сожалеть, что пришла сюда.

Но тут дверь распахнулась, Кара перешагнул порог и остановился. Мне понравилось, как он молча смотрел мне в глаза.

– Замужество и материнство сделали тебя еще красивее. А лицо стало совсем другим.

Мы обнялись. Мне было так приятно, что я даже не чувствовала себя виноватой. Я забыла обо всем, отдавшись сладкому ощущению. Обняла его еще раз. Позволила поцеловать себя, сама его поцеловала. Мне хотелось, чтобы весь мир обнимался, как мы. Неужели ко мне снова пришла любовь? Я ощутила его язык у себя во рту. Мне было так хорошо, казалось, отныне ничего плохого со мной не случится.

Кара положил ладони мне на грудь. Это было так приятно, захотелось, чтобы он взял соски в рот. Но он этого не сделал. Он

вообще плохо соображал. Желание распирало его. Когда мы слишком плотно прижались друг к другу, нам вдруг стало страшно и стыдно. Но сначала мне нравилось, что он крепко держит меня за бедра, а в живот мне упирается сильный твердый член; я не стеснялась, я даже подумала с гордостью, конечно, все правильно, раз тебя так обнимают. Потом, когда он спустил штаны, я хотела отвернуться, но не смогла.

Кара стал склонять меня совершить бесстыдство, на которое не всегда соглашались даже дурные женщины, рассказы о которых я слышала в бане. Но я с криком отпрянула от него.

МЕНЯ НАЗОВУТ УБИЙЦЕЙ

То, о чем я сейчас расскажу, произошло вроде бы сегодня, а вроде бы и давно. Был вечер, темнело, падал редкий снежок. Я шел по улице, где живет Эниште-эфенди.

– В отличие от прежних вечеров, я пришел сюда полный решимости и точно зная, чего хочу. Прежде я бродил здесь, думая о посторонних вещах, например о книгах из Герата, дошедших до нас со времен Тимура, на обложках которых было изображено солнце, но не бывало звезд, или о том, как сказал матери, что заработал за книгу семьсот акча. На сей раз все было не так: у меня была конкретная цель.

Я потянулся к массивной калитке, собираясь постучать, и вдруг она сама открылась, я подумал, что это хороший, знак. Я впервые пришел сюда так рано – обычно приходил ночью, приносил рисунки к Книге Эниште-эфенди. Во дворе никого не было.

Поднявшись в дом, я вошел в комнату, где, по моим представлениям, спала Шекюре с детьми: постели, сундук, шкаф. В комнате ощущался легкий запах миндаля.

– Хайрие, – раздался голос Эниште-эфенди, – Шекюре, кто там из вас?

Я мгновенно вышел, пересек прихожую, вошел в комнату в голубых тонах, где мы работали для книги Эниште-эфенди, и сказал:

– Это я, Эниште-эфенди.

– Кто ты?

Я вдруг понял, что прозвища, которыми нас наградили в детстве мастер Осман, были поводом для насмешек над нами Эниште-эфенди, и отчетливо произнес свое полное имя, сказал, откуда я родом и имя отца – так увековечил бы себя знающий себе цену каллиграф на последней странице переписанной им книги; в конце я обозна-

чил свое прозвище и добавил: «ваш скромный грешный раб».

– Вот как? – удивился Эниште-эфенди и повторил: – Вот как! Пришел, значит? Добро пожаловать, сынок, говори, что тебе нужно? Я молчал.

– Ты боишься, сынок? – ласково спросил Эниште-эфенди. – Из-за рисунков?

В комнате было так темно, что я не видел его лица, но мне показалось, что он улыбается.

– Наша книга давно перестала быть тайной, – сказал я. – Может, это и не важно. Но о ней говорят повсюду. Говорят, что мы предали нашу религию, что мы готовим не ту книгу, что заказал и ждет падишах, а совсем другую ради своего развлечения, и книга эта греховна: там и насмешка над падишахом, и неверие, и безбожие, и подражание мастерам-гяурам. Говорят даже, что в нашей книге сатана изображен привлекательным созданием. Ходят слухи, что мы смотрим на мир глазами грязной уличной собаки, издеваемся над верующими, идущими в мечеть, и оскорбляем ислам, так как мечеть на наших рисунках – одной величины с пчелой, и это якобы потому, что она стоит на заднем плане. Мысли об этом не дают мне уснуть.

– Когда мы рисовали, – сказал Эниште-эфенди, – разве мы думали о чём-нибудь подобном?

– Да защитит нас Аллах! – воскликнул я, изображая негодование. – Не знаю, где они слышали, но говорят еще, что есть последний рисунок, так там безбожие и оскорбление предстают уже совершенно откровенно.

– Ты же видел последний рисунок.

– По вашей просьбе я рисовал крупные листья в углах рисунка, но целиком его не видел. Если бы я видел его весь, я бы не поверил гнусной клевете и совесть моя была бы чиста.

– В чем ты чувствуешь себя виноватым? – спросил он. – Что тебя мучает?

– Когда нападкам подвергается книга, над которой человек старательно работал многие месяцы и считает ее священной, он испытывает адские муки. Я должен увидеть весь последний рисунок.

– Для этого ты и пришел?

– Конечно! Вы же знаете слова Пророка о том, что в Судный день Аллах особенно сурово накажет художников. Покойный Зариф-эфенди испугался последнего рисунка. Он говорил, что это сатана сбил нас с пути, заставил изображать перспективу, следо-

вать методам европейских мастеров. Он считал, что не только перспектива, то есть видение мира не глазами Аллаха, а глазами уличной собаки, но и смешение наших приемов с приемами европейских мастеров лишает нас чистоты и ставит в положение рабов, и это тоже проделки сатаны.

– Художник, – возразил Эниште-эфенди уверенно, – рисует, повинувшись своей совести, в соответствии с правилами, в которые он верит, и ничего не боится. Ему нет дела до того, что скажут его враги, ученики или завистники. Вот я, например, не боюсь никого. Потому что не боюсь смерти.

– Давайте докажем, что мы не боимся, – предложил я смело. – Покажем всем последний рисунок.

– А не будет ли это означать, что мы всерьез принимаем их клевету? Мы ведь не сделали ничего, чего стоило бы бояться. Почему тебе так страшно?

– Я знаю, почему был убит несчастный Зариф-эфенди, – взволнованно произнеся. – Он оклеветал вас, вашу книгу и собиравшись натравить на нас людей Нусрета Ходжи из Эрзурума. Он считал, что мы делаем дьявольское дело, и говорил об этом повсюду, он подстрекал против вас других художников, работающих над вашей книгой. Я не знаю, почему он так поступал. То ли от зависти, то ли сатана нашептал. О том, что Зариф-эфенди был полон решимости уничтожить нас, слышали и другие художники, работающие над вашей книгой. Можете представить себе, как все, в том числе и я, перепугались и засомневались. Видимо, кто-то из художников не выдержал, убил негодяя и бросил в колодец.

– Негодяя?

– У Зарифа-эфенди был ужасный характер, он оказался гнусным предателем, – заорал я, будто сам Зариф стоял передо мной. Воцарилось молчание.

– Давайте продолжим работу над вашей книгой, – сказал наконец я. – Пусть все будет по-прежнему.

– Но среди художников есть убийца. Поэтому я буду работать только с Кара.

«Он что, хочет, чтобы я и его убил?»

Я встал с места, прошел за спиной Эниште-эфенди мимо стоящих на рабочей доске знакомых стеклянных, керамических, хрустальных чернильниц и взял в руку новую большую чернильницу из бронзы. Иногда во сне мы видим себя со стороны и испытываем ужас. Нечто подобное испытал я, когда, сжимая в руке эту массивную чернильницу с узким горлышком, сказал:

– Такие чернильницы я видел, когда был десятилетним учеником.

– Это монгольская чернильница, ей триста лет, – сказал Эниште-эфенди. – Кара привез из Тебриза. Специально для красных чернил.

Сатана подбивал меня опустить чернильницу на старческую голову. Но я удержался. И признался неожиданно для себя:

– Это я убил Зарифа-эфенди.

Вы ведь понимаете, почему я сказал это? Я надеялся, что Эниште-эфенди меня поймет и простит. Испугается и поможет мне.

Я – ЭНИШТЕ

Когда он выпалил, что убил Зарифа-эфенди, в комнате повисла тишина. Я подумал, что он и меня убьет. Сердце у Меня учащенно билось. Он пришел убить меня или признаться и напугать? Чего он хочет? Я подумал, что много лет знаком с талантом и мастерством этого замечательного художника, но совершенно не знаю его души, и испугался. С массивной чернильницей в руке он стоял за моей спиной, склоняясь прямо над затылком, но я не повернулся, чтобы взглянуть ему в лицо.

– А как получилось, что ты его убил? Как вы встретились у того колодца? – Я хотел всего лишь потянуть время. Но он охотно стал рассказывать:

– В ту ночь Зариф-эфенди от тебя пришел прямо ко мне и сказал, что видел последний рисунок. Он был сильно напуган. Я старался убедить его не поднимать шума, повел на пустырь, сказал, что недалеко от колодца у меня спрятаны деньги и я отдам их ему, если он будет молчать. Он поверил. Ради денег он был готов на все. Мне не очень жаль его, он был посредственный художник. Чтобы получить деньги, он готов был ногтями скрести мерзлую землю. Если бы у меня действительно были закопаны золотые возле колодца, я не стал бы убивать его. Зариф-эфенди раскрашивал рисунки, у него была твердая рука, но краски он подбирал плохо. Я убил его, не оставив никаких следов. Скажи мне, что такое стиль? Сейчас европейцы и китайцы говорят о манере, о стиле художника. Должен ли быть у художника собственный стиль?

Тут он несмело взглянул на меня и неожиданно мягким голосом спросил:

– У меня есть свой стиль? – Он дрожал, как девица, защищающая свою честь.

Мне стало жаль его до слез. Стараясь быть ласковым и доброжелательным, я сказал:

– Ты – самый талантливый, у тебя самые искусные руки, самый острый глаз из всех художников, что я видел за шестьдесят с лишним лет. Если передо мной положат тысячу рисунков, я тотчас признаю тот, которого коснулось твое восхитительное перо.

– Я тоже так думаю, – признался он, – но тебе не дано понять тайну моего таланта. Сейчас ты лжешь, потому что боишься меня.

– Твое перо как будто само, без твоего участия находит правильную линию, – продолжал я. – Я часто смотрю на твои работы и каждый раз вижу новый смысл, как бы это поточнее сказать, заново читаю рисунок, как текст. Слои смысла выстраиваются один за другим, и возникает глубина, достигаемая европейцами с помощью перспективы.

– Хорошо. Оставь европейских мастеров. Продолжай.

– Твое перо настолько прекрасно и убедительно, что человек, рассматривающий твой рисунок, верит не в реальный мир, а в изображенное тобой. Поэтому ты можешь сбить с пути истинного даже очень глубоко верующего человека, а можешь вернуть на путь Аллаха самого убежденного безбожника.

– Правильно, хотя не знаю, похвала ли это. Продолжай.

– Ни один художник не знает так глубоко, как ты, свойства и секреты красок. Ты всегда используешь самые яркие, самые живые, самые натуральные цвета.

– Ладно. А еще?

– Ты знаешь, что ты самый большой художник после Бехзада и Мир Сейита Али.

– Да, я знаю. Но раз и ты это знаешь, почему ты делаешь книгу не со мной, а с этим никчемным Кара?

– Во-первых, работа, которую он делает, не требует таланта художника. А во-вторых, он не убийца, как ты.

Он со всей силой опустил чернильницу мне на голову.

От удара я качнулся вперед. Я почувствовал ужасную, неопишемую боль. На какой-то миг весь мир погрузился в эту боль и стал желтым.

Он нанес второй удар.

На этот раз я осознал, что происходящее – не случайность, это безумие, гнев, а в результате он меня убьет. От страха и боли я закричал. Если бы можно было нарисовать мой крик, он был бы зеленого цвета. Я понимал, что рядом никого нет и никто не увидит этого цвета ни в пустом доме, ни на темной улице.

Он испугался моего крика и замер. Глаза наши встретились. В его взгляде наряду с испугом и стыдом я прочитал решимость довести начатое до конца. Это был не мастер-художник, с которым я еще недавно работал, а кто-то чужой и злой, с кем у меня не могло быть общего языка. Я попытался схватить его за руку, словно в этом было спасение. Нет, не помогло. Я умолял или думал, что умоляю: сынок, не убивай меня. Он был как будто во сне и не слышал меня.

Я почувствовал новый удар.

«Как жаль, что последним, кого я видел, был мой враг», – пронеслось у меня в голове. Я закрыл глаза, и меня сразу обволокло теплым, мягким светом. Он был удивительно приятный, как сон, который сейчас уймет мою боль. Внутри света я увидел какой-то силуэт. И, как ребенок, спросил:

– Ты кто?

– Я – Азраил, – прозвучало в ответ. – Я кладу конец земному пути сынов человеческих, Это я разлучаю матерей и детей, жен и мужей, влюбленных, отцов и дочерей. Нет ни одного живого существа в этом мире, которое избежало бы встречи со мной.

Я понял, что это – смерть, и заплакал.

Я умирал от жажды, но с надеждой ждал. Приди, доченька, приди, моя красавица Шекюре. Она не пришла.

Я – ШЕКЮРЕ

Войдя во двор, я сразу поняла, что Хайрие и дети не вернулись. Впрочем, еще не поздно, еще не звучал вечерний азан. В доме пахло померанцевым вареньем. Я поднялась по лестнице; в комнате отца было темно. Я переоделась в домашнее и хотела было посидеть в тишине и помечтать, но тут услышала шорох внизу, прямо подо мной, то есть не в кухне, а в летней мастерской. Неужели отец спустился туда в такой холод? Но я не заметила, чтобы там горел свет. Скрипнула калитка во дворе. Когда вслед за этим раздался громкий лай собак, меня охватило беспокойство.

– Хайрие, – закричала я, – Шевкет, Орхан...

Мне было холодно. «У отца в комнате горит мангал, – сказала я себе, – пойду посижу с ним, согреюсь».

Взяв свечу, я пошла к отцу. В голубой комнате был ужасный беспорядок, и я рассеянно подумала: не похоже на отца.

А потом посередине комнаты увидела его.

Я ужасно закричала. Громко окликнула его. Он не отозвался. Он был мертв.

Некоторое время я прислушивалась к тишине. Потом взяла отца за ноги и вытащила в прихожую. Он был тяжелый, но я все же стала спускать его с лестницы. Голова бедного отца была настолько разбита, что, ударяясь о ступеньки, производила звук, какой бывает от удара тряпичной куклой. Внизу тело стало почему-то полегче, и я одним махом Протащила его мимо конюшни через двор и дальше, в летнюю мастерскую. Здесь было совсем темно, и я побежала на кухню за свечой. Когда я вернулась, то была потрясена, увидев, какой погром учинен и здесь.

– О, Аллах! Кто мог это сделать?

Я крепко закрыла дверь, взяла на кухне ведро, принесла воды из колодца и смыла кровь в прихожей и на лестнице. Я сделала все очень быстро. Поднялась в свою комнату, сняла запачканную кровью одежду, надела чистую. Я уже собиралась с ведром и тряпкой пойти в комнату отца, как услышала, что открывается калитка. Я собрала все свое мужество и замерла, стоя на верхней ступеньке лестницы.

– Мама, мы пришли, – раздался веселый голос Орхана.

– Тише! – оборвала я его. – Дедушка заболел. Дети с шумом взбежали по лестнице, разулись.

– Ш-ш-ш, – приложила я палец к губам и подтолкнула их в сторону нашей комнаты, – дедушка спит, не ходите туда.

Я спустилась на кухню.

– Кто-то опрокинул варенье из померанца, – доложила Хайрие. – Кошка этого не смогла бы сделать, собака сюда не входит. – Тут она увидела выражение ужаса на моем лице и спросила: – Что случилось? Что-то с отцом?

– Он умер. Он лежит в летней мастерской.

Она подозрительно посмотрела на меня, взяла свечу и вышла. Я видела, как она быстро пробежала через двор, открыла дверь и, подняв свечу, стала всматриваться в холодную тьму комнаты. Отец лежал у порога, и Хайрие не сразу увидела его, а увидев, вскрикнула.

– Послушай, Хайрие, – сказала я, когда она вернулась на кухню, – наверху тоже все перевернуто; нечестивец и в комнате все перебил и переломал. Там он разбил отцу голову и лицо, там убил его. Чтобы дети не увидели и чтобы ты не испугалась, я перетащила отца вниз. Я вслед за вами ушла из дома. Отец был один.

– А где ты была? – спросила она вызывающе. Я помолчала немного, а потом сказала:

– Я была с Кара. Мы встретились в доме повешенного иудея.

Но ты никому не скажешь об этом. Так же как никому пока не скажешь, что отец убит.

– Кто его убил?

Или она совсем дурочка, или нарочно задала этот вопрос, чтобы позлить меня.

– Если бы я знала, то не скрывала бы, что он мертв, – ответила я.

– Не знаю. А ты знаешь?

– Откуда мне знать? Что же мы теперь будем делать?

– Будешь вести себя так, будто ничего не произошло, – сказала я.

Слезы душили меня, но я сдержалась.

Мы принесли воды из колодца, совершили омовение, потом я взяла любимый Коран отца гератской работы и прочитала суру «Семейство Имран», которую он очень любил и всегда читал, если речь заходила о надежде и смерти.

Мы навели порядок, насколько это было можно; я не позволила Хайрие постелить постель в нашей комнате. Сказала, что дети поутру заподозрят неладное. Я легла, но долго не могла уснуть. Не оттого, что думала об ужасе произошедшего, а потому, что раздумывала, что будет со мной.

МЕНЯ ЗОВУТ КРАСНЫЙ

Цвет – это прикосновение к глазу, музыка глухих, слово, звучащее в темноте. Тысячи лет я слушаю, как в книгах и предметах разговаривают души – это похоже на гул ветра, – и потому смею утверждать, что коснуться меня – все равно что коснуться ангела. Я состою из двух частей: тяжелой – она здесь и разговаривает с глазами людей – и легкой – она летает в воздухе с вашими взглядами.

Я счастлив, что я красный! У меня нутро горит, я сильный, я заметный, я знаю, что меня трудно пересилить.

Я не прячусь: для меня главное – не тонкость, изящество и нежность, а решимость и воля. Я выступаю открыто. Я не боюсь других цветов, теней, нагромождений или одиночества. Как это прекрасно: заполнить поверхность своим победным огнем! Там, где появляюсь я, глаза сверкают, страсти кипят, брови поднимаются, сердца учащенно бьются. Посмотрите на меня: жизнь прекрасна! Понаблюдайте за мной: видеть – это восхитительно! Жить – значит видеть. Я виден везде. Жизнь начинается со мной, и все возвращается ко мне, поверьте.

Помолчите и послушайте, почему я так ослепительно красен. Мастер по краскам приготовил пять дирхемов порошка, который он делает, измельчая в ступке в пыль самых красных засушенных

насекомых из самых жарких областей Индии, дирхем травы мыльнянки и полдирхема еще одной степной травы. Налил в Кастрюлю три окка воды и вскипятил мыльнянку. Добавил траву и тщательно перемешал. Поставил на огонь и кипятил, пока не настало время выпить чашечку крепкого кофе, чтобы просветлить ум и обострить зрение. Мастер пьет кофе, а я – в нетерпении, как ребенок, который должен скоро родиться. Мастер бросил в кастрюлю красный порошок и как следует перемешал специально предназначенными для этого чистыми тонкими палочками. Сейчас появится по-настоящему красный цвет; главное – консистенция; важно не перекипятить. Мастер взял палочкой каплю краски и капнул на ноготь большого пальца (другие пальцы ни в коем случае не годятся). Как хорошо быть красной краской! Я окрасила ноготь в красный цвет, не потекла, как вода, к краям ногтя: консистенция неплоха, но есть осадок. Мастер снял кастрюлю с огня, процедил меня через чистую тряпочку, я стала чище. Снова поставил на огонь, дал два раза вскипеть, добавил слегка взбитые квасцы и отставил в сторонку – остывать.

Прошло несколько дней. Я покоилась в кастрюле. Сердце болело от этого покоя – ведь надо, чтобы мною раскрашивали рисунки, использовали повсюду. Я стала думать, что же это такое – быть красной краской, давать красный цвет?

Как-то в персидском городе, где слепой художник по памяти рисовал оседланную лошадь, а ученик раскрашивал узоры на седле, я услышала разговор двух мастеров.

Тот, что рисовал по памяти, сказал:

– Всю жизнь мы работали с воодушевлением и верой и потому в конце жизни ослепли; мы видели и знаем, каков красный цвет, какое чувство он вызывает. А если бы мы от рождения были слепые, как мы поняли бы эту красную краску, которую наносит на бумагу наш ученик?

– Хороший вопрос, – сказал второй, – но цвет нельзя понять, его можно почувствовать.

– Тогда объясни тому, кто ни разу не видел, чувство красного цвета.

– Если бы мы могли прикоснуться к нему кончиком пальца, было бы ощущение железа или меди. Если бы взяли в руку, обожглись бы. На вкус этот цвет оказался бы сытным, как соленое мясо. Он быстро заполнил бы рот. Запах у него резкий, как у коня. А если сравнить этот запах с цветком, то цветок оказался бы ромашкой, а не красной розой.

Сто десять лет назад, когда еще не было опасности в виде европейской живописи, наши прославленные великие художники, верящие в свои правила, как в Аллаха, смеялись над тем, что европейцы для изображения сабельной раны или обыкновенного сукна употребляют разные оттенки красного цвета; наши мастера воспринимали это как неуважение и невежество. Только неумелый, нерешительный и безвольный художник, считали они, использует для красного кафтана красный цвет особого оттенка. И тень не может быть тому оправданием: есть только один красный цвет, и только ему можно верить.

– А каков смысл красного цвета? – спросил слепой художник.

– Смысл любого цвета состоит в том, что он перед нами, что мы его видим, – ответил другой. – Тому, кто не видел красного цвета, невозможно объяснить его.

– Неверные, еретики, безбожники говорят, что Аллаха нет, поэтому что его не видно, – сказал первый.

– Он виден тем, кто умеет видеть, – возразил второй. – В Коране говорится, что никогда не сравнится слепой и зрячий.

Красивый ученик потихоньку наносил меня на седло. Я заполняла контуры рисунка, передавала ему свою живость и силу; это было очень приятное чувство, и мне было щекотно от радости, когда я распространялась по бумаге при помощи кисточки из кошачьего пуха. Я раскрашиваю мир, говорю ему: «Будь!», и он становится моего кровавого цвета. Кто-то, может, и не видит этого, но поверьте, я есть, я живу повсюду.

Я – ШЕКЮРЕ

Утром я встала раньше, чем проснулись дети, написала коротенькую записочку Кара с просьбой немедленно прийти в дом повешенного иудея и сунула ее Хайрие, чтобы та срочно отнесла Эстер.

Хайрие быстро вернулась и собрала завтрак. Когда она подавала оставшееся варенье из померанца, я подумала, что Эстер, наверно, уже стучит в дверь Кара. Снег перестал, выглянуло солнце.

Я вошла в дом повешенного иудея. Кара уже ждал меня. Мне казалось, что со вчерашнего свидания прошло много недель. Я приподняла покрывало и сказала:

– Радуйся, если можешь: мой отец не будет нам мешать, не будет противиться. Вчера, когда ты забавлялся здесь со мной, ка-

кой-то негодяй вошел в наш дом и убил его. Убийца разгромил весь дом, многое перебил, видно действовал, ослепленный гневом и ненавистью. Он украл последний рисунок из книги отца. Я хочу, чтобы ты защитил меня, нас, книгу отца от этого мерзавца. Но в качестве кого ты будешь защищать нас, По праву какой близости – это вопрос.

Он хотел что-то сказать, но я взглядом остановила его, будто всегда так делала.

– Кадий скажет, что после смерти отца моим покровителем должен быть мой муж или его семья. Честно говоря, так было и до смерти отца, потому что кадий считает, что мой муж жив. Брат мужа повел себя неприлично, а свекор – беспомощный старик, я воспользовалась этим и перебралась к отцу до того, как стала вдовой. Теперь, когда умер отец и у меня нет брата, считается, что я осталась совсем без опекуна. Или, что очевидно, мои опекуны – брат мужа и свекор. Ты знаешь, они хотят заполучить меня обратно. Как только они услышат, что отец умер, они немедленно станут действовать, чтобы вернуть меня к ним в дом. Поскольку я не хочу возвращаться, я пока никому не сообщала, что отец убит. Хотя, возможно, это сделали они.

Пучок солнечных лучей победно просочился через сломанные ставни сквозь слежавшуюся за годы пыль и осветил пространство между мною и Кара.

– Я скрываю смерть отца не только поэтому, – продолжала я, глядя в глаза Кара и радуясь тому, что он смотрит на меня скорее с вниманием, чем с любовью. – Я боюсь, что не сумею объяснить, где я была, когда убивали отца. Хотя свидетельство Хайрие ничего не стоит, все же я боюсь, что ее могут использовать; она может знать, например, что отец не хотел, чтобы я вышла за тебя.

– А твой отец действительно не хотел, чтобы мы поженились?

– Не хотел, потому что он, как ты знаешь, опасался, что ты увезешь меня из дома. Но теперь отец не может нам помешать и не выскажет никаких возражений против нашей женитьбы. А ты?

– Нет, дорогая.

– Хорошо. От тебя не требуется никаких денег. Извини, что я так беззастенчиво сама обговариваю условия нашей женитьбы. Но, к сожалению, я вынуждена действовать очень быстро, и у меня есть некоторые условия.

Кара сказал:

– Слушаю тебя.

– Первое, – начала я, – ты поклянешься при двух свидетелях, что, если будешь невыносимо плохо обращаться со мной или возьмешь в дом вторую жену, то дашь мне развод и обеспечишь средствами к существованию. Второе: ты поклянешься при двух свидетелях, что, если ты покинешь дом и будешь отсутствовать больше шести месяцев, я могу считаться разведенной и просить пособие. Третье: после женитьбы ты переберешься в мой дом, но пока ты не найдешь или не будет найден убийца, которого я хотела бы пытать своими руками, и пока ты, приложив все старания, не закончишь книгу и не преподнесешь ее падишаху, ты не будешь делить со мной постель. И четвертое: ты будешь любить моих сыновей как своих собственных детей.

– Согласен.

– Хорошо, если ты согласен на мои условия, мы очень быстро поженимся.

– Стало быть, поженимся, но не будем спать в одной постели.

МЕНЯ ЗОВУТ КАРА

Несчастливая, осиротевшая моя Шекюре удалилась легкими, как пух, шагами. Оставшись один в доме повешенного иудея, я вдыхал оставленный ею запах миндаля и мечтал о женитьбе. В голове моей была сумятица, но соображал я на удивление быстро. Скорбеть по поводу смерти Эниште не было времени; я почти бегом отправился к имаму¹.

Имама-эфенди, который вечно казался сонным оттого, что большие черные глаза его были всегда полуприкрыты, я застал во дворе мечети; я задал ему очень распространенный юридический вопрос: когда обязательно представлять свидетелей и когда необязательно.

При этом я развязал кошелек и показал ему венецианские золотые: казалось, не только лицо имама, а весь просторный двор мечети озарился блеском этих монет. Он спросил, какое у меня дело.

Я объяснил, кто я. Сказал, что Эниште-эфенди болен. Он хочет, чтобы прежде, чем он умрет, было засвидетельствовано вдовство его дочери и ей было бы назначено содержание.

Имам-эфенди обещал пойти ко мне в свидетели и привести своего брата. Если один золотой я дам для брата, добавил он, это будет очень доброе дело.

1. Имам – духовное лицо, главный служитель мечети.

Брат хорошо осведомлен о страданиях Шекюре и милых сирот. Мы договорились. Имам-эфенди отправился к брату.

Помощник кадия Ускюдара¹ выслушал свидетелей и строго спросил, кто является опекуном Шекюре. Я ответил, что опекун – ее уважаемый отец, бывший посол нашего падишаха в Венеции.

– Ну разведу я ее, и что?! – сказал помощник кадия. – Почему это умирающий так хочет видеть свою дочь разведенной с давно пропавшим без вести мужем? Вот если есть надежный человек, за которого дочь может выйти замуж, тогда я понимаю, он умрет спокойно.

– Есть такой человек, – сказал я.

– Кто он?

– Это я!

– Это невозможно! Ты – доверенное лицо! Чем ты занимаешься?

– Я служил писцом и каллиграфом у пашей в восточных землях, был помощником по финансовой части. Я написал историю войн с персами, которую собираюсь преподнести падишаху. Я разбираюсь в миниатюре. Я двенадцать лет сгораю от любви к этой женщине.

– Ты ее родственник?

– Она дочь моей тети.

– Понятно. Ты сможешь сделать ее счастливой?

– Я достаточно обеспечен.

– Согласно Корану и верованиям шафиитов², – объявил помощник кадия, – нет никаких препятствий к тому, чтобы развести несчастную Шекюре с мужем, отсутствующим четыре года. Шекюре считается разведенной, и даже, если муж вернется, он не будет иметь на нее прав.

Помощник внес в реестр запись о разводе и дал мне бумагу с печатью о том, что моя Шекюре отныне считается вдовой и нет никаких преград к тому, чтобы она немедленно снова вышла замуж.

– Все в порядке, – я показал Хайрие бумаги, полученные от кадия. – Шекюре разведена. И про женитьбу я с имамом сговорился. Пусть Шекюре будет готова.

– Шекюре-ханым хочет позвать соседей. И чтобы был свадебный кортеж. В качестве свадебного угощения мы приготовим плов с миндалем и курагой.

1. Ускюдар – район в азиатской части Стамбула.

2. Шафиит – последователь имама Шафи, ученого, основателя одной из четырех школ в исламском суннитском правоведении.

Она, наверно, с удовольствием рассказала бы, что еще они готовят, но я прервал ее:

– Если так размахиваться со свадьбой, Хасан и его люди узнают, устроят скандал, объявят недействительным бракосочетание, и мы ничего не сможем сделать. Все хлопоты будут напрасны. К тому же мы должны таиться не только от Хасана и свекра, но и от подлого убийцы. Вы не боитесь?

– Конечно боимся, – заплакала Хайрие.

Я сказал ей, что скоро, прибуду в дом на белой лошади и приведу свидетелей, велел Шекюре быть готовой. А я сейчас же иду в парикмахерскую.

Но сначала надо было договориться о совершении свадебного обряда, и я пошел в мечеть Ясин Паша. Во дворе мечети имам с черной бородой и светлым лицом прогонял метлой злых собак. Я объяснил ему, что отец дочери моей тети вот-вот предстанет перед Аллахом, он хочет увидеть свадьбу дочери прежде, чем умрет, что решением кадия Ускюдара женщина сегодня разведена с мужем, не вернувшимся с войны.

Имам взял золотые и обещал надеть соответствующие одежды, привести в порядок волосы, бороду, кавук и прийти для совершения свадебного обряда. Он спросил, в каком доме состоится церемония, я объяснил ему.

Мангал приятно обогревал маленькую парикмахерскую. Я размяк под ловкими пальцами парикмахера. После стольких невзгод жизнь неожиданно преподнесла мне сегодня самый большой подарок, какой только могла преподнести. У открытой двери вдруг возникло какое-то движение, я повернулся: Шевкет!

Он волновался, но смело подошел и протянул мне записку. Неужели плохие вести? Я похолодел. Развернул записку:

«Без свадебного кортежа замуж не пойду. Шекюре».

Поскольку Шекюре не уходила в дом мужа, а наоборот, я поселялся в ее доме, свадебный кортеж был особенно важен. Я не мог снарядить богатых друзей и родственников, посадить их на лошадей и прислать к дому невесты. Но все же я сел на свою белую лошадь, взял с собой двух товарищей детства, “которых встретил в Стамбуле за эти шесть дней (один стал писцом, как я, другой владел баней), прихватил любезного парикмахера, что во время бритья с повлажневшими глазами пожелал мне счастья, и в таком составе мы прибыли к дому Шекюре, так, будто собирались увезти ее в другой дом, в другую жизнь.

Хайрие, открывшей дверь, я дал солидный бакшиш. На Шекюре было красное одеяние невесты, лицо было скрыто под ро-

зовым покрывалом, спадающим до полу.

Участники кортежа и гости заполнили дом (из угла на меня опасно посматривал Орхан). Все вели себя так, будто не чувствовали ничего необычного, но я начал задыхаться оттого, что в ноздри, в легкие мне проникал трупный запах – я был знаком с ним по войне: такой запах исходил от оставшихся под солнцем трупов, раздетых и разутых, лица, глаза и губы которых были изъедены дикими зверями и хищными птицами.

Но позже, когда имам-эфенди в полутемной комнате, где лежал Эниште, совершал обряд нашего с Шекюре обручения, внутри у меня звучала музыка.

Перед совершением обряда Хайрие хорошенько проветрила комнату, поставила свечу в угол, так что освещение было минимальным, и Эниште лежал не как труп, а как больной; свидетелями были мой друг парикмахер и один старик из квартала. Во время торжества, которое закончилось пожеланиями и наставлениями имама и всеобщей молитвой, старичок, обеспокоенный здоровьем Эниште, сделал было шаг в сторону покойного, но тут обряд окончился и я бросился и истово приложился к усыхающей руке моего Эниште:

– Не волнуйтесь, не сомневайтесь, дорогой мой Эниште, – закричал я, – я сделаю все, что от меня зависит, чтобы Шекюре и дети жили в сытости, достатке, покое и любви.

Почетным гостям я сказал, что больной хотел бы остаться один. Они тут же вышли и отправились в боковую комнату, где мужчины ели приготовленный Хайрие плов и жареную баранину (запах тмина, тимьяна и жареной баранины перемешался с трупным запахом), а я рассеянно, как хозяин дома, прошел в прихожую, не задумываясь открыл дверь в комнату Шекюре и, не обращая внимания на ужас женщин при виде вошедшего мужчины, ласково посмотрел в глаза Шекюре, которые при моем появлении озарились счастьем:

– Отец зовет тебя, Шекюре. Иди поцелуй ему руку.

Я – ШЕКЮРЕ

– Дети, – сказала я Орхану и Шевкету хорошо знакомым им тоном, каким обычно сообщала важные новости. – Идите сюда. Они подошли.

– Кара теперь – ваш отец. Поцелуйте ему руку. Они молча осторожно приложились к руке Кара.

– А где Кара постелит свою постель? – приставал Шевкет. –

Где он будет спать?

– Я не знаю. Ему постелит Хайрие.

– Мама, а ты с нами будешь спать, как раньше? – спросил Шекет.

– Ну сколько раз повторять? Я по-прежнему буду спать с вами.

– Всегда?

– Всегда.

Дети легли.

Я достала из дальнего угла шкафа рисунки, которые не тронул подлый убийца, села на постель и долго рассматривала при свете свечей, пытаясь разгадать их тайну.

Потом через холодную прихожую прошла в мастерскую отца. Кара я увидела в углу, там, где последние четыре дня он сидел и разговаривал с отцом о миниатюрах, о перспективе, о книге. От свечи по комнате распространялся теплый, живой свет.

Я положила рисунки на коврик перед Кара и села рядом. Мы смотрели на них молча, почти не двигаясь. Когда мы шевелились, пламя свечи подрагивало, и было видно, как загадочные рисунки отца словно оживают. Почему они казались мне такими ценными? Потому что они стали причиной смерти отца? Что меня волновало сейчас: необычное изображение лошади, несравненный красный цвет, печальный вид дерева, два грустных дервиша или страх перед убийцей, который из-за всего этого убил отца?

Свадьба свершилась, на дворе была ночь, мы сидели вдвоем, и нам обоим захотелось разговаривать.

– Утром все должны узнать, что мой бедный отец скончался во сне, – прервала я молчание, но голос мой прозвучал неестественно.

– Утром все будет хорошо, – Кара тоже говорил как-то натянуто. Он сделал едва заметное движение в мою сторону, но я поднялась и пошла к детям.

От чего я проснулась среди ночи? Слышала ли я какие-то звуки или мне приснилось?

Я быстро вскочила, набросила на себя одежду.

– Кара! – позвала я шепотом, стоя на верхней ступеньке лестницы. Надев что-то на ноги, я стала спускаться. Свеча, которую я зажгла от мангала, погасла, как только я вышла во двор. О, Аллах! У раскрытой калитки стоял Кара и с кем-то разговаривал.

Тот, другой, скрытый за деревьями, что-то объяснял. Я поняла, что голос, который я слышу, принадлежит Хасану. Голос был одновременно умоляющий, плаксивый и угрожающий.

– Завтра я приведу сюда кадия, янычар, свидетелей, которые

поклонятся, что мой брат жив и все еще сражается в горах против персов, – говорил Хасан. – Ваша свадьба незаконна, вы совершаете грех.

– Шекюре была не твоей женой, а женой твоего покойного брата, – возражал Кара. – Сегодня утром кадий Ускюдара развел Шекюре, так как муж уже четыре года не возвращается. Если он жив, пусть ему скажут, что он разведен.

– Шекюре не имеет права выходить замуж раньше чем через месяц. Это противоречит исламской религии и Корану; как ее отец мог согласиться на такой позор?

– Эниште-эфенди, – сказал Кара, – очень болен, он умирает, а разрешение на свадьбу дал кадий.

– Вы вместе уговорили Эниште? И Хайрие тоже помогала?

– Мой тесть очень сердится на тебя за Шекюре. Если твой брат действительно жив, тебе придется ответить перед ним за неблагоприятное поведение.

– Все это ложь. Это придумала Шекюре, чтобы сбежать от нас. «» Из дома с воплем выскочил Шевкет:

– Дедушка холодный, как лед!

Он кинулся ко мне. Я взяла его на руки.

– Мама, дедушку убили, – плакал Шевкет. Хасан услышал его слова:

– Вы убили Эниште, потому что он был против вашей свадьбы. Он был против незаконного развода, подставных свидетелей, всех этих ваших хитростей. Если бы он считал тебя человеком, Кара, он отдал бы за тебя дочь не сейчас, а много лет назад.

– А мы подозреваем, что это ты убил Эниште, – сказал Кара. – Убил его, чтобы мы не могли пожениться. А когда услышал, что Шекюре разведена и мы получили разрешение на свадьбу, ты просто спятил. Ты и так был зол на Эниште за то, что он осмелился принять Шекюре в свой дом. Ты хотел отомстить ему. Ты знал, что, пока он жив, тебе ни за что не получить Шекюре.

– Замолчи, – сказал Хасан решительно, – не буду я этого слушать. Холодно. Я замерз уже, пока бросал камни, чтобы привлечь ваше внимание. Но вы ничего не слышали.

– Кара смотрел рисунки из книги отца, – сказала я.

– О книге и рисунках несчастного Эниште-эфенди надо рассказать и кадию, и янычарскому начальнику, и шейхульисламу¹, – заявил Хасан. – Все только и говорят об этой книге. Что там, в тех рисунках?

1. Шейхульислам – высшее духовное лицо в Османской империи.

- Ничего, – сказал Кара.
- Значит, ты их видел.
- Эниште-эфенди хотел, чтобы я закончил книгу.
- Вот и хорошо. Надеюсь, пытать нас будет вместе.

МЕНЯ ЗОВУТ КАРА

Утром я проснулся от крика Хайрие и бросился в прихожую. В какой-то миг «я подумал, что Хасан со своими людьми проник в дом и надо спрятать рисунки. Но потом понял, что Хайрие кричит по приказу Шекюре, сообщая детям и соседям о смерти Эниште-эфенди.

Мы столкнулись с Шекюре в прихожей и обнялись. Дети, которые, услышав крики Хайрие, выскочили из постели, увидели нас и остановились.

– Ваш дедушка умер, – сказала Шекюре.

Мы все вместе, с детьми, пошли в комнату, где лежало тело. Я произнес «Ла илахе илаллах»¹ – положено, чтобы это были последние услышанные умирающим слова, тогда он попадет в рай. Держа руки вверх ладонями, я прочитал «Ясин»², все молча слушали. Принесенным Шекюре куском батиста мы старательно подвязали челюсть, осторожно прикрыли оставшийся целым глаз Эниште, повернули тело на правый бок и положили так, чтобы лицо было обращено в сторону киблы³. Шекюре прикрыла тело отца чистой простыней.

Мне понравилось, как дети в молчании, внимательно и строго наблюдали за нашими действиями. Я почувствовал, что у меня и в самом деле есть жена, дети, очаг, дом, и это чувство было сильнее ужаса смерти.

Я надел кафтан, взял аккуратно сложенные рисунки и быстро вышел из дома.

Поскольку деньги на заказанную Эниште книгу падишах передавал через Главного казначея, известие о смерти я должен был прежде всего сообщить ему. Чтобы попасть во дворец, я отправился к родственнику по линии отца, который со времен моего детства работал в портняжной мастерской недалеко от дворца. Я припал к старческой руке и умолял помочь мне, объяснив всю необходимость встречи с Главным казначеем.

1. «Во имя Аллаха милостивого, милосердного» – начало любой молитвы.

2. Сура Корана, которую обычно читают как поминальную молитву.

3. Кибла – направление к Каабе, главному мусульманскому святилищу.

Некоторое время я ждал, глядя, как бритоголовые ученики, склонившись, сшивают полотна из разноцветных тканей, а потом родственник пристроил меня к помощнику главного портного, который, как я понял, направлялся во дворец поговорить о счетах и новых заказах.

Мы вышли на площадь Алай, она показалась мне, как всегда, и пустынной, и в то же время шумной. Перед воротами во дворец, где в дни собрания Дивана¹ сходились множество нищих, никого не было. Слышался лишь неясный гул, исходящий, видимо, из мастерских. Я волновался и робел: впервые в жизни проходил Я через внутренние ворота дворца.

На площади Дивана царила глубокая тишина. Я слышал даже, как пульсирует у меня кровь в венах на шее и в висках. Мы шли по изумительно красивому саду, похожему на рай; много раз мне его описывал Эниште и другие, кто был вхож во дворец. Но испытывал я не счастье, как это положено входящему в рай, а страх: я отчетливо осознал, что являюсь лишь простым рабом нашего падишаха, который – здесь это не оставляло никаких сомнений – есть опора вселенной. Я смотрел на павлинов, прогуливающихся среди зелени, на журчащие фонтанчики и прикрепленные к ним на цепочках золотые кружки, на чавушей² в шелковых одеждах, передвигающихся так беззвучно, словно они вовсе не касались земли, и меня охватывало волнение оттого, что я могу служить нашему повелителю. Я сделаю все, чтобы закончить книгу падишаха.

Через широкую дверь мы вошли в помещение, которое называли старой комнатой Дивана. Под высоким куполом я увидел людей, держащих в руках ткани, куски кожи, серебряные ножны для сабель, шкатулки из перламутра. Я сразу понял, что это дворцовые мастера швейных, обувных, серебряных дел, резчики по слоновой кости, изготовители музыкальных инструментов. Они ждали здесь, так как входить во внутренние покои дворца было запрещено, а им надо было решить с Главным казначеем вопросы, касающиеся счетов, закупки материалов и прочее. Я обрадовался, что среди ожидающих не было ни одного художника.

Мы тоже стали ждать. Из-за двери был слышен голос секретаря казны, повторяющий, что в счетах есть ошибка, а также голос посетителя, который уважительно отвечал на вопросы секретаря. Эти голоса перекрывали шепот мастеров, жалующихся на нехватку денег и материалов, и шелест крыльев голубей, летающих под куполом.

1. Диван – Высший совет, собираемый во дворце.

2. Чавуш – здесь: глашатай, чтец приказов.

Войдя в небольшую комнату с купольным потолком, я увидел там только секретаря. Я сказал, что у меня очень важный вопрос к Главному казначею, он касается заказанной падишахом книги; книга осталась незавершенной, и я занимаюсь ею. Когда я показал рисунки из книги, гундосый секретарь сразу понял, что дело серьезное. Увидев, что он смущен странностью и непривычной броскостью рисунков, я назвал имя Эниште, рассказал, чем он занимается, и сообщил, что он умер из-за этих рисунков. Я говорил очень быстро: я знал, что, если выйду из дворца, не достучавшись до падишаха, в гибели Эниште обязательно обвинят меня.

Секретарь отправился за Главным казначеем.

Прошло довольно много времени, прежде чем появился человек в серпуще с золотыми нитями – такой могли носить только министры и он: это был Главный казначей. Когда он вошел, я испугался и думал, что не смогу сказать ни слова. Я поцеловал край его одежды. Он сразу поставил на подставку принесенные мною рисунки и стал их рассматривать

– Сынок, – сказал он, – я не ослышался, твой Эниште почил?

То ли от волнения, то ли от чувства вины я не в силах был ответить и лишь утвердительно кивнул. А потом случилось неожиданное: из глаз моих выкатилась слеза и медленно поползла по щеке.

– Поплачь, поплачь, сынок, – сказал Главный казначей. Я рыдал, как маленький. Я считал себя взрослым и зрелым человеком. Но, оказывается, когда ты находишься так близко к падишаху, сердцу государства, ты превращаешься в ребенка. Мне было безразлично, что мои рыдания услышат ожидающие очереди мастера: я понял, что могу все рассказать Главному казначею.

И рассказал: о женитьбе на Шекюре, о трудностях с книгой, о тайнах, скрытых в лежащих перед нами рисунках, об угрозах Хасана, о смерти Эниште. Я постепенно успокаивался. Всем своим существом я чувствовал, что, только положившись на бесконечную справедливость и могущество падишаха, я смогу вырваться из ловушки, в которую попал. Передаст ли Главный казначей мой рассказ повелителю вселенной, не подвергая меня пыткам, не отдавая палачам?

– О смерти Эниште-эфенди надо немедленно сообщить в художественные мастерские, – распорядился Главный казначей. – Пусть все придут на похороны.

Он посмотрел мне в лицо, словно желая понять, не возражаю ли я. Это придало мне уверенности, и я высказал свои предположения о том, кто и почему убил Эниште и Зарифа-эфенди. Начал я с

людей проповедника из Эрзурума; они громят обители за то, что там играют на музыкальных инструментах и танцуют. Видя, что Главный казначей смотрит на меня с подозрением, я добавил, что из-за высокой чести, оказанной Эниште, и щедрой оплаты за работу среди художников, привлеченных им к изготовлению книги, неизбежно должны были возникнуть соперничество и зависть. Тайна, окружающая книгу, сама по себе могла породить интриги. Говоря это, я почувствовал, что не развеял подозрений. О, Аллах, пусть выяснится правда, больше я ничего не желаю.

Воцарилось молчание. Главный казначей отвел от меня глаза с таким видом, будто ему неловко за мои слова, и посмотрел на рисунок:

– Здесь их девять, но договор с Эниште был о десяти. Эниште взял у нас гораздо больше листов золота, чем здесь использовано.

– Должно быть, убийца забрал из пустого дома последний, самый большой рисунок, где было очень много позолоты, – ответил я.

– А что с текстом?

– Покойный Эниште не закончил текст. Он ждал, рассчитывал на мою помощь.

– Но ты говоришь, что совсем недавно вернулся в Стамбул.

– Я приехал через три дня после убийства Зарифа-эфенди.

– Получается, что Эниште целый год иллюстрировал книгу без текста?

– Да.

– А он тебе объяснил, о чем эта книга?

– Он говорил, что по желанию падишаха это должна быть книга, которая в тысячулетнюю годовщину хиджры покажет венецианскому дожу мощь и величие ислама, силу и богатство Османов¹ и поселит страх в сердце владыки Венеции. Эта книга представит рисунки и описание всего самого ценного в нашем мире, и в центре книги будет изображен наш падишах. Поскольку в книге использованы и приемы европейских мастеров, венецианский дож придет в восторг, книга вызовет у него желание жить в дружбе с нами.

– Это я знаю, но неужели самое ценное у Османов – эти собаки и деревья? – спросил Главный казначей, показывая на рисунки.

– Покойный Эниште говорил, что книга покажет не только богатство падишаха, но и силу его духа и величие судьбы.

– А изображение падишаха?

1. Османы – династия турецких султанов, основанная Османом в 1300 г.

– Я его не видел. Наверное, его спрятал подлый убийца. Получалось, что покойный взял деньги, но не сумел сделать книгу, как обещал, а только заказал странные рисунки, которые не понравились Главному казначею. Неужели он думает, что я мог убить Эниште, чтобы жениться на его дочери и завладеть золотыми листами? Я сказал, что в убийстве Зарифа-эфенди Эниште подозревал Зейтина, Лейлека и Келебека, но не имел тому доказательств. Я чувствовал, что Главный казначей начал относиться ко мне как к клеветнику и глупому сплетнику.

Поэтому я обрадовался, когда он повелел не сообщать в мастерской, что Эниште скончался не своей смертью, восприняв это как знак некоего доверия. Рисунки остались у Главного казначея; выходя через внутренние ворота, куда я недавно с волнением входил под внимательными взглядами привратников, я был спокоен, как человек, который после долгих лет скитаний вернулся домой.

Я – МАСТЕР ОСМАН

Вам, конечно, знакомы невыносимые, старики, всю жизнь посвятившие искусству. Они бывают высокие, худые и костлявые. Они хотят, чтобы короткий остаток их жизни был таким же, как вся прожитая ими длинная жизнь. Они всем выговаривают. Они легко впадают в гнев и на все жалуются. Они берут в свои руки бразды правления и каждого заставляют подчиняться. Им не нравится никто и ничто. Я–из таких стариков.

На похоронах Эниште, душу которого из-за его глупости Аллах рано взял к себе, я постарался забыть, какие страдания причинил мне покойный, когда заставлял меня копировать европейских мастеров. Возвращаясь с похорон, я думал, что недалек день, когда и меня Аллах одарит милостью – слепотой и смертью. Обо мне будут помнить, пока мои рисунки в книгах будут радовать глаза и сердца.

Я работал, когда в дверь постучали. Пришлось встать.

Главный казначей прислал за мной мальчика-посыльного. Сунув лупу в карман кафтана, я вышел вместе с мальчиком.

Посыльный вел меня в старое помещение Дивана, там я встречу с Главным казначеем, и мы будем говорить о деньгах для художников, о подарках, книгах и верблюжьих яйцах, которые художники раскрашивают для падишаха, о здоровье, аппетите и настроении художников, об обеспечении их необходимыми красками, листовым золотом и другими материалами, о жалобах и пожеланиях,

о воле и состоянии духа падишаха, о том, о сем, о моих глазах, о болях в позвоночнике, о презренном зяте Главного казначея и его серой кошке.

В комнате я увидел Главного казначея и Начальника дворцовой стражи. Ангел и шайтан!

Начальник стражи, делом которого было совершать казни в, дворцовом саду, пытаться, допрашивать, бить, выкалывать глаза, укладывая на фалаку¹, ласково улыбался мне. Словно он мой товарищ и собирается рассказать мне что-то очень интересное.

Говорить, однако, начал не Начальник стражи, а Главный казначей.

– Год назад наш повелитель, – сказал, он несколько смущенно, – велел мне подготовить книгу, достойную быть подарком для венецианского дожа, и пожелал, чтобы работа над книгой сохранялась в тайне. Из-за этого он решил не привлекать к делу замечательного каллиграфа Локмана и тебя, мастерством которого он восхищается. Кроме того, он понимал, что вы достаточно заняты книгой «Сур-наме», рассказывающей об обряде обрезания наследника.

Как только я вошел в комнату и увидел Начальника стражи, я с ужасом подумал, что кто-то оклеветал меня, убедил Повелителя, что мои рисунки содержат оскорбление и издевку и я, невзирая на свой возраст, буду подвергнут пыткам. Поэтому слова Главного казначея, который старался вроде как утешить меня, что падишах поручил особую книгу не мне, а кому-то другому, показались мне слаще меда. Историю этой книги я знал хорошо и ничего нового для себя не услышал.

Чтобы не молчать, я спросил то, что хорошо знал и так, – кому была поручена книга?

– Как вам известно, она была поручена Эниште-эфенди, – сказал Главный казначей и посмотрел мне в глаза. – Знали ли вы, что он не умер скоропостижно, а был убит?

– Нет, не знал, – ответил я.

– Наш падишах очень, очень разгневан, – вздохнул Главный казначей.

Он же ненормальный, этот Эниште-эфенди, подумал я, художники говорили о нем с улыбкой, даже с насмешкой, потому что у него было больше усердия, чем знаний. Больше страсти, чем ума. Я спросил:

1. Фалака – орудие пыток, деревяшка, к которой привязывают человека и бьют палками.

– Как его убили?

Главный казначей рассказал. Ужас. Да защитит нас Аллах! И кто это сделал?

– Есть приказ падишаха, – сообщил Главный казначей, – как можно скорее закончить эту книгу и «Сур-наме».

– Есть и второй приказ, – подхватил Начальник стражи. – Если убийца – один из художников. Повелитель требует найти этого негодяя с чёрным сердцем. В назидание всем он будет осужден на такое наказание, что никто больше не посмеет препятствовать работе над книгой падишаха и убивать художников.

Главный казначей рассказал, что Эниште-эфенди воспитал племянника Кара и тот понимает толк в книге и рисунке. Знаю ли я его? Я молчал. Недавно Кара по приглашению Эниште вернулся в Стамбул с персидской границы (Начальник стражи бросил подозрительный взгляд) и в Стамбуле узнал от Эниште про готовящуюся книгу. Он говорит, что после убийства Зарифа-эфенди Эниште с подозрением относился к мастерам-художникам, которые приходили к нему по ночам для работы над книгой. Кара видел рисунки, сделанные художниками для книги, он сказал, что убийца Эниште – один из этих художников и что убийца выкрал рисунок, тот, где был портрет падишаха и где больше всего использована позолота. Этот молодой человек два дня скрывал от дворца убийство Эниште. Поскольку за это время он поспешно женился на дочери Эниште-эфенди и поселился в доме дяди, оба они подозревают Кара.

– Если будет устроен обыск в домах моих художников и будет найден похищенный рисунок, станет ясно, что Кара прав, – сказали. – Но я знаю моих детей с дней их ученичества, это истинные таланты, и никто из них не может посягнуть на жизнь человека.

– Мы обыщем дома, лавки, все помещения, которые могут принадлежать Зейтину, Лейлеку и Келебеку, – сказал Начальник стражи, произнеся с издевкой прозвища, любовно данные мною ученикам, и добавил: – Обыщем самым тщательным образом. И дом Кара тоже. В этой сложной ситуации мы, слава Аллаху, получили от кадия разрешение на пытки при допросах. Поскольку это уже второй человек, убитый в кругах, близких к художникам, и все художники, от учеников до мастеров, находятся под подозрением, к ним может быть применен закон о пытках.

– Не трогайте лучших мастеров падишаха, – попросил я. Главный казначей встал с места, взял рисунки в дальнем углу комнаты, принес, положил передо мной, поставив с двух сторон большие зажженные свечи, хотя в комнате было достаточно светло.

Я стал водить лупой по страницам. Сначала мне хотелось смеяться, потом я рассердился, хотя не воспринимал нарисованное всерьез. Впечатление было такое, что Эниште-эфенди велел моим художникам рисовать не так, как рисуют они, а так, как рисуют другие. Будто он заставил их рисовать несуществующие воспоминания или будущее, в котором они никогда не хотели бы жить. И что самое невероятное, из-за этого вздора они убивали друг друга.

– Глядя на эти рисунки, можете ли вы сказать, какой из них каким художником сделан? – спросил Главный казначей.

– Да, – ответил я со злостью. – Где вы их взяли?

– Кара принес и сдал нам, – ответил Главный казначей, – он старается отвести подозрения от себя и оградить от упреков своего Эниште.

– Устройте ему допрос с пристрастием, – сказал я. – Пусть расскажет, какие еще секреты были у покойного.

– Мы послали за ним человека, – сказал Начальник стражи радостно. – А потом хорошенько обыщем дом новоиспеченного зятя.

И вдруг их лица странно осветились, на них проявилось почтение и восторг, они вскочили на ноги.

Не оборачиваясь, я понял, что вошел наш падишах, Повелитель вселенной.

МЕНЯ ЗОВУТ ЭСТЕР

Как хорошо вместе плакать! Во время похорон отца моей несчастной Шекюре собрались женщины – родственницы, подруги, соседки; я тоже долго лила слезы вместе со всеми.

Я люблю всякие торжества; в толпе я забываю, что я – белая ворона; а еще в такие дни можно вдоволь поесть. На праздничных церемониях угощают баклавой, мятными лепешками, хлебом с толченым миндалем и пастилками; на торжествах по поводу обрезания – пловом с мясом и коржиками; на пышных гуляньях, которые устраивает падишах на ипподроме, подносят вишневым сок; а после похорон можно поесть ароматной халвы с кунжутом и медом, что присылают в дом покойного соседи.

Вот и тут на столе выстроились в ряд кастрюли и кувшины с бекмесом¹ и другими сладостями; открывая крышки и пальцем с краешков пробуя содержимое, а иногда просто нюхая, я спросила, кто прислал угощения.

1. Бекмес – виноградный сок, вываренный до густоты меда.

Хайрие начала перечислять, но тут вошла Шекюре:

– Жена покойного Зарифа-эфенди не выразила соболезнований и не прислала халву! Зариф-эфенди хорошо относился к моему отцу. В день его похорон мы сделали халву и отправили семье. Что происходит? – рассуждала Шекюре.

– Пойду узнаю, – сказала я, сообразив, о чем думает Шекюре. Мы вышли во двор. Шекюре поцеловала меня за то, что я не стала ни о чем расспрашивать. Мы обнялись и некоторое время стояли неподвижно на холоде. Я погладила мою красавицу по голове.

– Эстер, мне страшно.

– Не бойся, милая, – ответила я, – нет худа без добра. Вот видишь, ты вышла замуж.

Запах смерти присутствовал и в доме Зарифа-эфенди, но тоски там не было. Я, Эстер, тысячи раз бывала в домах вдов и знаю, что рано потерявшие мужей женщины или смиряются с потерей, или гневно протестуют против положения, в котором оказались. Кальбие-ханым была в гневе, и я сразу увидела, что говорить с ней будет не трудно.

Как все гордые женщины, прожившие нелегкую жизнь, Кальбие-ханым понимала, что одни приходят в черные дни пожалеть ее, а другие, видя ее печальное положение, порадоваться за себя; она не вступала с пришедшими в пустые вежливые разговоры, а сразу переходила к делу:

«Зачем явилась Эстер в этот послеобеденный час?»

Кальбие-ханым с важным видом подтвердила, что сознательно не выразила соболезнований Шекюре, не пришла разделить с ней горе и даже не послала халву. Она не скрывала радости, что ее обида была замечена. Я постаралась выяснить причину обиды.

Кальбие призналась, что зла на покойного Эниште-эфенди за книгу, которую он делал. Ее покойный муж участвовал в этой книге не для того, чтобы подзаработать; Эниште-эфенди уговорил его, объяснив, что книга готовится по приказу падишаха. Она рассказала, что сначала ее муж имел дело с цветными рисунками, но потом Эниште-эфенди стал заказывать черно-белые, непонятно, к каким сюжетам. Ее покойный муж увидел, что рисунки эти безбожны и кощунственны, и потерял покой. Зариф-эфенди был человек верующий, он не пропускал ни одной проповеди и неизменно совершал все намазы. Он знал, что некоторые бесстыдники в мастерской насмехались над его глубокой религиозностью, но считал насмешки проявлением зависти к его таланту.

Из глаз Кальбие покатались слезы, и я решила, что при первом же случае найду для нее мужа еще лучше, чем был первый.

– Муж не очень-то делился со мной, – сказала Кальбие. – Я сама стала вспоминать, додумалась до всего, соединила факты и поняла, что все произошло из-за рисунков Эниште-эфенди, к которому он отправился в последнюю ночь.

– Шекюре сказала, что готова принести извинения, если она в чем-то виновата. Она предлагает тебе дружбу и просит помочь ей и попытаться вспомнить: когда покойный Зариф-эфенди в последнюю ночь направлялся к Эниште-эфенди, не говорил ли он, что должен встретиться еще с кем-то?

– В кармане у моего бедного Зарифа было только это, – Кальбие открыла соломенную шкатулку для шитья с изображением дерева, достала оттуда и развернула листок бумаги.

На мятом листке я увидела неясные изображения. Только я вроде бы разглядела, на что они похожи, как Кальбие подтвердила мою догадку:

– Это лошади. Покойный Зариф-эфенди никогда не рисовал лошадей, никто и не просил его рисовать лошадей.

Ваша старая Эстер смотрела на расплывшиеся рисунки лошадей и ничего не могла понять. Потом сообразила:

– Надо отнести этот листок Шекюре, она очень обрадуется.

– Если ей интересен этот листок, пусть сама придет сюда, – высокомерно сказала Кальбие.

МЕНЯ ЗОВУТ КАРА

С помощью Аллаха я похоронил тестя, с похорон поспешил домой, хотел было обнять Шекюре, но она, моя жена, прижала к себе враждебно глядящих на меня сыновей и начала безутешно рыдать, как и все находившиеся в доме.

Удивляясь способности соседей и дальних родственников так проливать слезы, я забился подальше в угол, чтобы меня никто не видел. Я размышлял над тем, что надлежит делать мне как хозяину дома, когда в дверь постучали. Я заволновался, решив, что это Хасан, но был согласен даже на его появление, лишь бы вырваться из этого ада рыдающих.

Оказалось, пришел посыльный. Меня звали во дворец.

Два человека в зелено-фиолетовых одеждах приняли меня от посыльного, втокнули в темную комнату недавно выстроенного дома – это я понял по запаху древесины – и заперли на замок. Я знал, что в темную комнату запирают перед пытками,

чтобы сильнее запугать. В соседней комнате, видимо, было много людей, оттуда доносился шум.

Через некоторое время меня выволокли из темноты и привели в соседнюю комнату, где я увидел Начальника дворцовой стражи и бритоголовых палачей.

Из глаз моих невольно потекли слезы. Я готов был выть, молить о пощаде, но не мог раскрыть рта.

С меня сняли безрукавку, рубаху. Один из палачей сел на меня верхом и коленями прижал мои плечи к полу. Другой ловкими движениями установил с двух сторон моей головы железки и начал медленно крутить ручку. Это были тиски, которые сжимали мне голову.

Я закричал изо всех сил.

Они остановились, спросили, я ли убил Эниште-эфенди?

– Нет!

Снова покрутили ручку. Стало больно.

Снова спросили.

– Нет!

– А кто?

– Не знаю!

Я уже было подумал, не сказать ли им, что я убил? Все кружилось у меня перед глазами. Я не испытывал никаких желаний, Уже не ощущал боли, только страх.

И тут меня оставили в покое. Сняли с моей головы железные тиски, которые на самом деле сжимали не слишком сильно. Палач слез с меня. Я надел рубашку и безрукавку.

В углу комнаты я увидел Главного художника Османа-эфенди. Я подошел, поцеловал ему руку.

– Не переживай, сынок, – сказал он. – Тебя проверяли. Я понял, что после Эниште у меня появился новый отец.

– Падишах распорядился пока тебя не пытать, – объяснил Начальник стражи. – Он разрешил тебе помочь Главному художнику мастеру Осману найти среди художников подлого убийцу. За три дня вы должны определить этого негодяя, разглядывая рисунки мастеров, работавших над книгой для падишаха. Повелитель недоволен слухами, которые распускают про его книгу и художников. По приказу падишаха я и Главный казначей Хазым-ага будем помогать вам в поисках. Один из вас, близкий родственник покойного Эниште, знает по его рассказам, как работали приходившие по ночам художники. Другой – большой мастер, который гордится тем, что знает все работы художников мастерской, как собственную ладонь. Если за три дня вы не су-

меете найти эту скотину и украденный рисунок, о котором ходит столько слухов, наш справедливый падишах подвергнет допросу с пытками прежде всего тебя, Кара-эфенди. Ну а затем наступит очередь остальных.

Я – МАСТЕР ОСМАН

У меня было три дня на изучение рисунков, которые доставят люди Главного охранника, собрав их по домам художников. Вы помните, какое отвращение я испытал, впервые увидев рисунки из книги Эниште-эфенди, которые принес Кара, чтобы оправдать себя. Справедливости ради надо сказать, что в каждом рисунке было что-то такое, что, несмотря на отвращение, приковывало взгляд. Если бы это было просто плохое искусство, оно не вызывало бы никаких чувств. Я с интересом стал снова рассматривать рисунки, выполненные ночами по заказу покойного сумасброда.

Красный цвет одного рисунка, в разных углах которого я обнаружил следы пера каждого из художников, испугал меня. Чья-то рука, я не разобрал чья, непонятно зачем окрасила все в странный красный цвет, и весь мир на рисунке целиком погрузился в красное. Я показывал Кара, кто на этом рисунке нарисовал чинару (Лейлек), кто – корабли и дома (Зейтин), а кто – воздушных змеев и цветы (Келебек).

– Вы – великий мастер, – сказал Кара, – вы столько лет руководите мастерской и знаете способности, характер и особенности пера и кисти каждого художника. Но как вы можете узнать и с уверенностью сказать, кто что нарисовал, когда Эниште заставил художников рисовать в новой, неизвестной манере?

– В далекие времена, – решил я ответить историей на его вопрос, – в крепости, возвышающейся над Исфаханом¹, одиноко жил падишах, любящий книгу и миниатюру. Это был сильный, умный, но безжалостный падишах. Он любил только книги, сделанные по его заказу, и свою дочь. Из-за этой его привязанности враги даже распускали слухи, будто он влюблен в собственное дитя. Падишах был настолько ревнив, что мог объявить войну соседнему шаху только за то, что тот прислал сватов. Разумеется, он не видел подходящего мужа для своей дочери и прятал ее за сорока замками – в Исфахане существовало поверье, что, если посторонний мужчина увидит красавицу, красота ее увянет.

1. Исфахан – город в Иране, один из центров, где в Средние века было высоко развито искусство миниатюры.

Однажды по заказу падишаха была переписана легенда о Хосрове и Ширин, она была иллюстрирована в манере гератских мастеров и доставлена падишаху, по Исфахану пошел слух, что изображенная на одном из рисунков бледная красавица – дочь ревнивого падишаха! Впрочем, падишах и сам заметил это. Говорят, не дочь падишаха, запертая на сорок замков, а ее красота, не выдержав тоски, выскользнула из своих покоев и, отражаясь в зеркалах, Проникла через дверную щель и предстала перед глазами одного из художников, как свет, как еле различимый туман. Молодой мастер не удержался и нарисовал дочь падишаха в уголке миниатюры, в которой был запечатлен момент, когда Ширин во время прогулки увидела изображение Хосрова и влюбилась в юношу.

– Мастер, это просто случайность, – воскликнул Кара. – Все мы очень любим тот эпизод легенды.

– Я тебе рассказываю о реальном событии, – возразил я. – Ведь наш художник изобразил дочь падишаха не как Ширин, а как одну из недиме¹, которые развлекали Ширин, играли на уде², накрывали для нее стол. Красота Ширин померкла рядом с невиданной красотой недиме; гармония была нарушена. Увидев на рисунке дочь, падишах решил найти талантливого художника, изобразившего ее. Но хитрый художник, боясь гнева падишаха, нарисовал его дочь в виде недиме не в своей, а совсем в другой манере, чтобы нельзя было определить автора. Ту сцену рисовали несколько талантливых художников,

– И как же падишах определил, кто нарисовал его дочь?

– По ушам. Разглядывая уши.

– Чьи уши? Дочери или недиме на рисунке?

– Падишах взял книги и стал рассматривать рисунки, сделанные его художниками, обращая особое внимание на то, как нарисованы уши. Он давно знал, что уши каждый из них рисовал по-своему. И не важно, изображали они лицо падишаха, ребенка, воина, Пророка или даже шайтана, – уши каждый рисовал по-своему.

– Почему?

– Рисую лица, художник все внимание уделяет тому, чтобы они не были похожи на лица реальных людей – он изображает красоту в соответствии с принятыми нормами. А когда дело доходит до ушей, он не думает, не сосредоточивается, и поэтому рука его движется свободно, машинально.

1. Недиме – собеседница, придворная дама.

2. Уд – струнный щипковый инструмент.

– Но разве большие мастера не рисуют по памяти, не глядя на реальных лошадей, деревья, людей? – спросил Кара.

– Это так, – ответил я, – на протяжении жизни они видели столько лошадей и их изображений, что совсем не трудно нарисовать образ лошади, сложившийся в голове. Перо мастера-художника, рисующего лошадь десятки тысяч раз на протяжении жизни, приобретает такой навык, что с легкостью наносит на бумагу изображение лошади, близкое к той, как ее задумал Аллах. Лошадь, которую рисуют по памяти и быстро, является воплощением таланта, показателем труда и знания и очень близка к лошади Аллаха. Но уши рука рисует автоматически, и тут непременно проявляется особенность художника, она у каждого своя. То есть нечто вроде подписи.

Раздался шум, произошло какое-то движение. Это люди Главного охранника принесли рисунки из домов художников.

– Вообще-то уши – это выдающаяся особенность человека, – сказал я, стремясь вызвать улыбку Кара. – У всех они разные, и в то же время это всегда – уродство.

– Что же случилось с художником, которого определили по ушам?

– Он женился на дочери падишаха. – Я не сказал, что он был ослеплен, чтобы не пугать Кара еще больше. – С тех пор ханы, шахи, падишахи, имеющие мастерские, при необходимости используют этот «метод недиме», о котором художники не знают. Суть метода состоит в изучении деталей, которым не придают значения, рисуют их быстро и часто повторяют. Это могут быть уши, руки, трава, листья, грива или ноги лошадей, даже ногти. Главное, чтобы художник не знал, что какая-то его особенность стала как бы его подписью.

Мы положили рядом рисунки для двух книг, разных по теме и выполненных в разных манерах: тайную книгу покойного Эниште и «Сур-наме», показывающую обряд обрезания Наследника, которая делалась под моим руководством, и стали внимательно изучать места, на которые я направлял лупу.

По прихоти покойного Эниште ни один рисунок не был выполнен одним художником, над большинством рисунков работали все трое мастеров. Это говорило о том, что рисунки часто кочевали из дома в дом. Рассматривая работы, я увидел след еще чьей-то руки; он был тороплив, и я злился, видя, каким бесталанным был подлый убийца, но Кара признал в осторожных мазках руку Эниште, и мы не пошли по ложному следу. Несчастный Зариф-эфенди раскраси-

вал рисунки для книги Эниште так же, как и для нашей «Сур-наме». Я точно убедился, что, кроме Зарифа, с Эниште работали три самых блистательных художника из нашей мастерской, и это были дети, которых я вырастил, три моих любимых и талантливых ученика: Зейтин, Келебек, Лейлек.

МЕНЯ ЗОВУТ КАРА

После обеда и до позднего вечера мы с великим мастером Османом сравнивали и оценивали работы художников для мастерской и для книги Эниште. Перед нами лежала гора рисунков, собранных во время обыска по домам художников (некоторые рисунки не имели никакого отношения ни к той, ни к другой книге, это свидетельствовало о том, что мастера, чтобы заработать несколько лишних монет, брали заказы на стороне); мы думали, что люди Главного охранника закончили свое дело и больше не появятся у нас, но тут вошел один из них, приблизился к великому мастеру и вынул из-за кушака сложенный листок.

Сердце мое забилося: листок был очень похож на письмо, которое прислала мне с Эстер Шекюре. Я чуть не сказал: какое совпадение! И тут увидел, что к листку приложен рисунок на грубой бумаге.

Мастер Осман оставил себе рисунок, а письмо – я сразу узнал почерк Шекюре – протянул мне.

«Господин мой, Кара! Я отправила Эстер к вдове покойного Зарифа-эфенди Кальбие, чтобы она поговорила с ней. И та показала ей рисунок, который я тебе посылаю. После Эстер я была у Кальбие и долго умоляла, уговаривала ее, объясняла, что этот листок может оказаться очень важным, и она отдала его мне. Этот листок был при Зарифе-эфенди, когда несчастного вытащили из колодца. Кальбие клянется, что никогда никто не поручал ее покойному мужу рисовать лошадей. Кто тогда это нарисовал? Люди Главного охранника обыскали дом. Посылаю тебе этих лошадей, думаю, что дело срочное. Дети целуют твою руку. Твоя жена Шекюре».

Я несколько раз перечитал три последних слова, глядя на них с почтением, будто внимательно рассматривал три необыкновенные красные розы в саду. Потом подошел к мастеру Осману, который внимательно через лупу рассматривал рисунок. Хотя контуры расплылись, я сразу увидел, что это лошади, нарисованные, чтобы набить руку, одним движением, как делали старые мастера.

– Кто это нарисовал? – спросил мастер Осман и, прочитав пись-

мо Шекюре, тут же сам ответил на свой вопрос: – Конечно, художник, который рисовал лошадей для покойного Эниште.

Не определив с уверенностью, кто рисовал для Эниште лошадей, мы стали внимательно рассматривать изображение лошади на всех рисунках.

Мы сравнили набросок на бумаге с лошастью в книге Эниште и сразу поняли, что это нарисовано одной рукой: лошади на рисунке, присланном Шекюре, создавали ощущение покоя – они были гордые, сильные и грациозные.

– Эта лошадь так прекрасна, что хочется взять лист “бумаги и нарисовать такую же, – заметил я.

– Самая большая похвала художнику – это сказать, что его работы вызывают желание рисовать, – отозвался мастер Осман. – Но мы сейчас не оцениваем талант художника, а пытаемся найти убийцу. Покойный Эниште-эфенди не говорил, для какого рассказа он заказал лошадь?

– Это просто одна из многих лошадей, что водятся в странах, подвластных нашему падишаху. Эта лошадь – составная часть богатства, которым владеет наш падишах. Она нарисована так, как рисуют европейские мастера, она более живая, чем та, что видит Аллах; это конкретное животное, живущее в Стамбуле, в своей конюшне и со своим конюхом. Венецианский дож подумает: если османские художники так рисуют, значит, османы стали похожими на нас; он признает силу и примет дружбу нашего падишаха. Ведь если человек рисует лошадь по-другому, он и всю Вселенную воспринимает по-другому. А что бы вы, мастер, сказали про эту лошадь?

– Судя по всему, это лошадь крупной породы, изгиб шеи говорит о том, что это хорошая скаковая лошадь, а поскольку у нее ровная спина, она пригодна для дальних путешествий. Изящные ноги доказывают, что она легкая и быстрая, как арабский скакун; но это не арабский скакун, потому что у нее большое и длинное туловище. Она горделива и изящна и, когда идет, будто кланяется на обе стороны. Но все это никак не помогает нам определить, кто ее нарисовал. У нас нет другого способа, кроме как опознать автора «методом недиме». Посмотри-ка повнимательней.

Он сосредоточенно рассматривал изображение лошади, словно искал обозначение клада на старинной карте, едва заметно нацарапанной на куске кожи.

– Да, – сказал я, как ученик, взволнованный блестящим от-

крытием, старающийся угодить учителю, – мы можем сравнить на разных рисунках краски и узоры на пополах.

– Нет. Узоры на одежде, коврах, шатрах раскрашивают ученики. Только покойный Зариф-эфенди мог бы это сделать, но он отпадает.

– Уши? – спросил я с волнением.

– Нет. Со времен Тимура все рисуют уши лошадям, как лист камыша.

– Посмотри-ка сюда, – сказал мастер Осман голосом врача, показывающего другому врачу обнаруженную чумную язву, – видишь?

Он навел лупу на головы лошадей. Я наклонился, чтобы лучше рассмотреть увеличенное изображение.

– У лошади странные ноздри.

– Значит, видишь, – сказал мастер Осман, не отрывая глаз от рисунка. – Странно он нарисовал ноздри.

– Рука дрогнула? Или особенность художника?

Мы оба смотрели на странное, непривычное изображение лошадиных ноздрей.

Это была единственная деталь, которая могла помочь Найти негодяя, убившего Эниште. Мы с трудом различали не только ноздри, но и морды лошадей, расплывшееся изображение которых было на листке бумаги, найденном при несчастном Зарифе-эфенди.

Мы провели много времени в поисках рисунков лошадей, которые в большом количестве сделали за последние годы любимые художники мастера Османа. Он послал людей, и – с разрешения падишаха – нам принесли недавно завершенные книги, хранившиеся во внутренних покоях дворца.

Мы просмотрели сотни лошадей, нарисованных за последние несколько лет Келебеком, Зейтином и Лейлеком, но ни у одной не увидели того, что искали.

Уже совсем стемнело, но вдруг комната наполнилась светом, что-то произошло такое, от чего мое сердце начало сильно биться; я догадался: вошел Повелитель вселенной, наш падишах. Я бросился к его ногам. Поцеловал край одежды. Я не смел смотреть на него.

Он сразу начал разговаривать с мастером Османом. Я не верил своим глазам: падишах сидел на том месте, где только что сидел я, и, как я, внимательно слушал то, что ему говорил мастер. Стоявшие тут же Главный казначей и еще несколько человек с большим вниманием смотрели на разложенные рисунки. Я набрался смелос-

ти и долго смотрел на Повелителя вселенной, нашего Властителя. Какой он был красивый! Какой стройный! Мы случайно встретились взглядами, и он произнес:

– Я очень любил покойного Эниште.

Он говорил мне! От волнения я не расслышал часть слов.

– ...очень опечален. Но меня утешает то, что все заказанные им и исполненные рисунки – прекрасны. Венецианский гяур увидит их, удивится и испугается моего ума. Вы должны определить убийцу по лошадиным ноздрям. Иначе придется подвергнуть пыткам всех художников, хоть это и жестоко.

– Мой падишах, Повелитель, – осенило мастера Османа, – если художники быстро нарисуют лошадь, не думая о том, к какому повествованию будет эта иллюстрация, мы, может быть, поймем, кто сделал этот набросок. Хорошо бы объявить состязание и прямо сегодня ночью обойти всех художников, чтобы каждый быстро нарисовал лошадь.

МЕНЯ НАЗЫВАЮТ ЗЕЙТИН

Перед вечерним намазом постучали в дверь, я открыл: на пороге стоял чисто одетый, приветливый, улыбающийся человек Главного охранника из дворца. В руке у него была свеча, которая больше затеняла, чем освещала его лицо, и лист бумаги. Он сказал, что падишах объявил конкурс среди художников на лучшее изображение лошади и я должен немедленно нарисовать лошадь.

Перед моими глазами начали проходить все лошади, которых я когда-либо рисовал. Одна из них была действительно превосходна. Ее-то я и нарисую. Рука с пером потянулась к чернильнице, взяла чернил ровно столько, сколько надо, и опустилась на листок: появились выразительные печальные глаза, дышащие ноздри, попона, с любовью расчесанная грива, стремя, звездочка на лбу – рисунок готов.

Рисуя, я словно сам превращался в эту прекрасную лошадь.

МЕНЯ НАЗЫВАЮТ КЕЛЕБЕК

Было время вечернего намаза. Человек, постучавший в дверь, сказал, что падишах объявил состязание. Слушаюсь, мой падишах! Кто может нарисовать лошадь лучше меня?

Я удивился, что рисовать следует черным пером и раскрашивать не надо. Интересно, кто будет решать, чей рисунок лучше? Я попро-

бывал разговорить широкоплечего красивого юношу-посланца и догадался, что за этим состязанием стоит Главный художник мастер Осман. Он, без сомнения, знает мой талант и из всех художников больше всего любит меня.

Я смотрел на пустой лист бумаги, и передо мной возник образ лошади, такой, как десять лет назад ее рисовал мастер Осман: крупная, нетерпеливая, такая, каких любит наш падишах; поднявшаяся на дыбы словно для того, чтобы продемонстрировать красоту передних ног. Интересно, сколько золотых дадут победителю? А как рисовал лошадей Бехзад?

Я сделал замечательный рисунок, меня будут хвалить и прославлять, как хвалили и прославляли Бехзада. Я стану как он.

Когда я рисую прекрасную лошадь, я словно превращаюсь в другого художника, рисующего прекрасную лошадь.

МЕНЯ НАЗЫВАЮТ ЛЕЙЛЕК

Было время после вечернего намаза, я собирался пойти в кофейню, но тут кто-то постучал ко мне. Я пошел посмотреть: человек из дворца. Он объяснил, что требуется нарисовать лучшую в мире лошадь. Хорошо. Скажите, сколько платите за штуку, и я вам нарисую несколько лучших в мире лошадей.

Но я был благоразумен, ничего такого не сказал, а пригласил пришедшего войти. Я достал тетрадь образцов, которую прятал от всех. В этой тетрадке были копии самых красивых рисунков, которые встретились мне за много лет. Моя тетрадь была бесценной для тех, кто хотел вспомнить старых мастеров и старые сказки.

Я выбрал самый лучший рисунок лошади, прикрепил иголками к чистому листку бумаги, обильно посыпал сверху угольной пылью и снял образец. Угольная пыль точечками повторила на нижнем листе силуэт лошади, получилось хорошо, мне понравилось.

Я взял перо и соединил точки – лучшая в мире лошадь. Таковую не нарисует никто.

Рисую самую прекрасную лошадь, я могу быть только самим собой.

МЕНЯ НАЗОВУТ УБИЙЦЕЙ

Ну что, определили вы меня по рисунку лошади?

Когда меня попросили нарисовать лошадь, я сразу понял, что никакого конкурса нет, а просто меня хотят вычислить по рисунку.

Я знал, что мой набросок лошадей, выполненный на грубой бумаге, остался у несчастного Зарифа-эфенди. Но у меня нет особенностей, нет своей манеры, чтобы можно было определить мое авторство по рисункам. Я в этом не сомневался, но, когда начал рисовать, меня охватило беспокойство. Мог ли я выдать себя рисунками лошадей для книги Эниште? Сейчас надо было нарисовать нечто отличное от них, что я и сделал.

Посланец дворца удалился. Дома мне не сиделось, я пошел на улицу, долго бродил без всякой цели, а потом отправился в покинутую обитель. Здесь было спокойно. Некоторое время я просто сидел, слушая тишину.

Потом вынул из потайного места зеркало, поставил его на подставку, расположил на коленях рабочую доску, положил на нее лист размером в две страницы и, глядя на свое отражение в зеркале, стал углем рисовать свое лицо. Я работал очень долго и старательно, но увидел, что лицо на бумаге не похоже на мое, и мне стало грустно до слез. Как же это делали венецианские художники, о которых столько рассказывал Эниште? Я попытался представить себя на их месте, стер нарисованное и, глядя в зеркало, принялся рисовать снова.

Через некоторое время я почему-то очутился сначала на улице, а потом в кофейне. Я не помнил, как пришел сюда. Но, оказавшись среди рядовых художников и каллиграфов, почувствовал себя так неуютно, что даже лоб покрылся испариной.

Я видел, что они толкают друг друга, показывают на меня и пересмеиваются. Стараясь не привлекать внимания, я сел в углу и стал смотреть, нет ли здесь кого из моих любимых братьев, тех, что вместе со мной учились у мастера Османа. Им тоже в этот вечер предложили нарисовать лошадь, и я уверен, что они старались изо всех сил, приняв всерьез известие о состязании.

Меддах еще не начал свой рассказ.

Я шутил, как все, рассказывал двусмысленные истории, шумно обнимался со знакомыми, вставлял многозначительные слова, интересовался делами учеников, безжалостно, как все, язвил по адресу общих врагов, позволил себе даже непристойные жесты. Но все это происходило как бы помимо меня и причиняло мне невыносимую душевную боль.

Я – САТАНА

Все, что сказано обо мне в Коране, верно. Я это признаю, видите, какой я честный. А ведь мне всегда было больно от того, что в

Коране я унижен. Эта боль стала моим постоянным состоянием.

Нас, ангелов, было много: на наших глазах Аллах создал человека. А потом захотел, чтобы мы ему поклонялись. Как написано в суре «Чистилище», все ангелы начали ему поклоняться, а я не захотел: Адам, как вы все знаете, сотворен из глины, а я из гораздо более высокого материала – огня. Я не стал поклоняться человеку. И Аллах счел меня высокомерным:

– Прочь из рая, нечего выделяться.

– Позволь мне жить до Судного дня, до того, как воскреснут мертвые, – попросил я.

Он позволил. Я во всеуслышанье заявил, что на протяжении всего этого времени буду сбивать с истинного пути племя Адамово, за отказ поклоняться которому я был наказан. Аллах сказал, что тех, кого мне удастся совратить, он будет отправлять в ад. Вы знаете, так оно и идет. И здесь мне добавить нечего.

Почему-то братья-художники рисуют меня скрюченным, рогатым, хвостатым, страшной тварью с лицом, усыпанным бородавками.

Именно о рисунке мне и хочется поговорить. Толпа, подстрекаемая проповедником, имени которого не буду произносить, чтобы не навлечь на вас его гнев, заполняет улицы Стамбула и кричит, что читать азан нараспев, совершать радения в обителях в сопровождении музыкальных инструментов, а также пить кофе – деяния, неугодные Аллаху. Я слышал, что некоторые наши художники, которые боятся проповедника и его толпы, говорят, что рисовать в манере европейцев – это проделки сатаны. Много раз обо мне распространяли клевету. Но никогда она не была так далека от истины.

Считается, что все началось, когда Ева съела запретный плод или Аллах признал меня высокомерным. Но это не так. Начало было, когда Аллах показал нам человека и потребовал поклонения ему, и все ангелы повиновались, а я решительно НЕ СТАЛ ПОКЛОНЯТЬСЯ ЧЕЛОВЕКУ.

В отличие от меня новые европейские художники порядком преуспели в таком преклонении. Они рисуют цвет глаз господ, священников, богатых торговцев, они изображают оттенок их кожи, морщины на лбу и даже отвратительные волосы, растущие в ушах; они выписывают несравненную линию губ женщин, тень в ложбинке груди, кольца на пальцах, а потом вешают рисунки на стену, размещая их на самых видных местах, как идолов, словно человек – это существо, которому надо поклоняться. Разве человек настолько

уж важное создание, что надо рисовать его во всех мелочах, вплоть до тени? Если рисовать дома на улице постепенно уменьшающимися, как неверно видит глаз, разве не окажется в центре вселенной человек, а не Аллах? Лучше всех это знает могущественный Аллах. Думаю, всем ясно, насколько нелепо утверждать, что мысль рисовать так принадлежит мне, отказавшемуся поклоняться человеку, претерпевшему за это столько обид, павшему в глазах Аллаха, выслушавшему столько брани и осужденному на одиночество.

Уже сотни лет меня безжалостно избивают камнями и проклинают. Но пусть мои враги вспомнят, что время до Судного дня мне отпустил сам Аллах. Век же, отпущенный Аллахом человеку, всего шестьдесят-семьдесят лет. Я бы сказал: постарайтесь продлить свой век за кофе, но знаю, что раз такое сказал я, то кто-то совсем откажется от кофе, а кто-то перевернется вниз головой и постарается влить кофе себе в зад.

Не смейтесь. Важно не содержание, а форма мысли. Важно не что рисует художник, а как он рисует. Только не надо выпячивать свой стиль.

Я – ШЕКЮРЕ

Во сне я видела отца, он говорил что-то, но я никак не могла понять что, это было ужасно; я проснулась. Шевкет и Орхан так тесно прижались ко мне с двух сторон, что я даже вспотела. Я сумела высвободиться, не разбудив их, встала с постели и вышла из комнаты.

Пройдя прихожую, я тихонько открыла дверь комнаты Кара. При свете свечи, которую я держала в руке, увидела белую постель, похожую на труп в саване.

Я протянула руку вперед, и свеча осветила усталое небритое лицо Кара, его голые плечи. Я подошла поближе. Он вертелся во сне, как Орхан, и на лице его было какое-то девичье выражение.

– Это мой муж, – сказала я себе. Он был настолько далеким и чужим, что меня охватило отчаяние.

Я ногой ткнула его в плечо и разбудила. Увидев меня, он заволновался, причем, как я и хотела, не столько обрадовался, сколько испугался. Не дав ему проснуться окончательно, я выпалила:

– Я видела отца во сне. Он сказал мне страшную вещь. Это ты убил его...

– Разве мы не были вместе в момент его убийства?

– Это так, – сказала я, – но ты знал, что отец останется дома один.

– Нет, не знал. Это ты отправила из дома Хайрие и детей. Так что знала только Хайрие и еще, может быть, Эстер. А кто еще мог знать – тебе виднее.

– Иногда мне кажется, что внутренний голос скажет мне, почему все так плохо, почему на меня валятся несчастья. Я открываю рот, чтобы этот голос вырвался наружу, но из горла, как во сне, не выходят звуки. И ты уже не тот хороший и чистый Кара, которого я знала в детстве.

– Того чистого Кара вы прогнали, ты и твой отец.

– Если ты женился на мне, только чтобы отомстить отцу, то у тебя это получилось. Может, поэтому дети совсем не любят тебя.

В глазах Кара я увидела такую усталость и тоску, что поняла: напугать его невозможно.

– Из нас двоих, – сказала я, – у тебя больше надежды и больше печали. Я бьюсь, чтобы не быть несчастной и защитить детей, а тебе надо всего лишь утвердиться. И не так уж сильно ты любишь меня.

Он долго говорил, как снежными ночами мечтал обо мне в безлюдных караван-сараях, в пустынных горах, пытался убедить, что очень любит меня. Если бы он не сказал этого, я разбудила бы детей и вернулась в дом бывшего мужа. Неожиданно у меня вырвалось:

– Иногда мне кажется, что мой бывший муж может вернуться в любую минуту. Я боюсь не того, что ночью, нас увидят дети, а того, что, как только мы обнимемся, раздастся стук в дверь.

– Ложись в постель и стань моей женой.

– Когда найдут негодяя, убийцу моего отца? – кричала я. – Если поиск затянется, мне нельзя оставаться с тобой в этом доме.

– Благодаря Эстер и тебе мастер Осман все внимание сосредоточил, на лошадях.

– Мастер Осман – непримиримый враг отца. Сейчас отец смотрит с небес, как враг помогает в поисках его убийцы, и страдает от этого.

Кара вскочил с постели и кинулся ко мне. Я не двинулась с места. Он неожиданно погасил свечу. Стало темно.

– Теперь твой отец не видит нас, – прошептал он. – Мы одни. Когда я вернулся сюда через двенадцать лет, ты дала мне почувствовать, что можешь любить меня, можешь открыть мне свое сердце. Ведь мы же поженились. Почему ты не хочешь быть со мной?

– Мне пришлось выйти за тебя, – ответила я тоже шепотом.

Я чувствовала, что мои слова гвоздями впиваются в стоящего против меня – так сказал когда-то Физули¹.

– Если бы я тебя любила, я любила бы тебя с детства, – опять шепотом добавила я.

– Ты видела и знаешь всех художников, приходивших к вам в дом. Скажи мне, красавица, кто из них, по-твоему, убийца?

Мне нравилось, что он не потерял присутствия духа. Он ведь был моим мужем.

– Мне холодно.

Сказала я это или нет, не помню. Мы поцеловались. Приятно было уткнуться замерзшим носом в его теплую щеку. Но я трусила, думала об отце, наблюдающем за мной, о прежнем муже, о детях.

– Кажется, кто-то ходит по дому, – я оттолкнула Кара и вышла.

МЕНЯ ЗОВУТ КАРА

Я поднялся до рассвета и тихо вышел из дома. Зашел в мечеть Беязыт, чтобы совершить намаз, потом добрался до дома мастера Османа, и мы вместе отправились во дворец: он, слегка сутулясь, верхом, я, тоже сутулясь, рядом с лошадьё; мы, наверно, были похожи на старого дервиша и его верного мюрида², как их изображали на рисунках к старым сказкам.

Во дворце мы увидели Начальника стражи и его людей. Падишах был уверен, что по рисункам лошадей, сделанным вечером тремя художниками, мы сразу установим убийцу, и Начальник стражи готов был тут же подвергнуть его пыткам.

Изящный и вежливый молодой человек, совсем не похожий на стражника, уверенными движениями положил на подставку три листа бумаги.

Когда мастер Осман вынул лупу, сердце мое учащенно забилося. Лупа скользила над рисунками, словно орел, высматривающий добычу. И как орел, увидевший предмет охоты, она трижды замедляла движение – мастер внимательно всматривался в ноздри лошадей. Наконец он покачал головой:

– Нет.

– Что нет? – удивился Начальник стражи.

– Убийца не оставил никакого следа.

1. Физули (1494–1556) – азербайджанский поэт-лирик.

2. Мюрид – ученик, последователь суфизма.

Я взял лупу и стал рассматривать лошадиные ноздри: мастер был прав. Ни у одной из трех лошадей не было таких необычных ноздрей, как на рисунке, предназначенном для книги Эниште.

Когда в комнату вошел падишах, мастер Осман сразу же доложил ему, что три рисунка лошадей нам ничего не дали.

– Не удивляйтесь, мой Повелитель, – сказал он, – что я не могу сразу разобраться в своих художниках, которых изучил, как собственную ладонь. Появился рисунок, которого я совершенно не знаю. Но особенность художника не может возникнуть на пустом месте.

– Как это? – спросив падишах.

– Великий падишах, Повелитель вселенной, по-моему, тайная подпись, которую мы увидели в ноздрах гнедой лошади, это не просто особенность художника, это что-то, имеющее корни в старине, связанное с другими стилями, другими рисунками лошадей. Если мы просмотрим самые ценные и старые книги, за множеством замков во внутренних хранилищах дворца, сокрытые в подвалах, железных сундуках и шкафах, мы увидим, что то, что сегодня нам показалось особенностью, когда-то было стилем; тогда мы сможем связать рисунок с одним из трех мастеров.

– Ты хочешь попасть во внутреннее хранилище? – спросил падишах с изумлением.

– Да, – ответил мастер.

Это было почти такое же дерзкое желание, как, например, войти в гарем.

Глядя на прекрасное лицо падишаха, я пытался угадать, что сейчас произойдет, но падишах повернулся и вышел. За ним вышла свита. Неужели он разгневался? Может ли он всех нас, художников, наказать за дерзость мастера?

– Вам очень повезло, – сказал Главный казначей, через некоторое время вернувшийся в комнату, – сиятельный падишах благосклонно отнесся к вашей просьбе. Вы будете смотреть книги, которых никто не видел, рассматривать золоченые страницы и, как охотники, возьмете след, Падишах повелел напомнить, что он дал мастеру Осману три дня и один день уже прошел; через два дня, к обеду в четверг мастер должен сообщить, кто из художников – подлый убийца, а если не сообщит, то выяснением этого вопроса займется Начальник дворцовой стражи со своими палачами.

Служители открыли висячий замок, внимательно осмотрели печать на двери, убедились, что она на месте, и Главный казначей одобрительно кивнул. После этого взломали печать, вставили ключ

в дверное отверстие и повернули его. Когда открылась створка деревянной резной двери, мастер Осман вдруг побледнел.

– Падишах не захотел вызывать писцов и секретарей, ведающих регистрационными тетрадями, – сказал Главный казначей. – Хранитель книг умер, вместо него никого нет. Падишах распорядился, чтобы с вами вошел только Джемми-ага.

Это был карлик, на вид не моложе семидесяти лет, с блестящими глазами. Похожий на парусник серпуш на его голове выглядел еще более странно, чем он сам.

– Джемми-ага считает хранилище своим домом. Он лучше всех знает, где какая книга лежит.

Главный казначей объяснил нам порядок: мы войдем, дверь за нами запрут и опечатают печатью султана Селима Явуза, которой пользуются уже семьдесят лет; после вечернего намаза придет группа служителей, чтобы было много свидетелей, печать взломают, дверь откроют; еще он предупредил, что по выходе нас тщательно обыщут, поэтому надо быть внимательными, чтобы за одежду, в карманы или за пояс «по ошибке» ничего не завалилось.

Пройдя через строй служителей, мы вошли вовнутрь. Здесь царил пробирающий до костей холод. Когда дверь за нами закрылась, мы оказались почти в полной темноте, и я уловил запах плесени, пыли и влаги.

Постепенно наши глаза привыкли к тусклому свету, освещающему помещение через толстые решетки окон наверху; проступили очертания лестниц, ведущих на антресоль, и деревянных настилов-проходов по второму этажу. Комната казалась красной из-за цвета бархатных тканей и ковров на полу и на стенах. Я представил себе, сколько походов Надо было совершить, сколько войн выиграть, сколько крови пролить, сколько городов разграбить, чтобы заполучить такое богатство, скопить столько вещей.

Джемми-ага привычным движением разжег мангал у стены.

– А где книги? – шепотом спросил мастер Осман.

– Какие книги? – поинтересовался карлик.

– Те, что тридцать лет назад прислал в подарок покойному султану Селиму шах Тахмасп, – уточнил мастер Осман.

Карлик подвел нас к большому деревянному шкафу. Мастер Осман открыл дверцу, нетерпеливо схватил один том, открыл, прочитал содержание, стал листать страницы.

– Чингисхан, Чагатайский хан, Тулуй-хан, Правитель Китая Кубилай-хан, – прочитал он, закрыл том и взял следующий.

Мы увидели миниатюру невероятной красоты, показываю-

щую, как влюбленный Фархад с трудом несет на спине возлюбленную Ширин вместе с конем.

– Подражание работе Бехзада, выполненной им в Тебризе восемьдесят лет назад, – сказал мастер Осман. – И это не то, – он открыл и тут же захлопнул тяжелый том. – Я ищу знаменитую книгу «Шахнаме», подарок шаха Тахмаспа, – сказал мастер Осман. – Мы должны вспомнить прекрасные легендарные времена, когда сам Аллах водил рукой художника. Нам предстоит просмотреть еще много книг.

Я подумал, что главная цель мастера Османа – не найти лошадь со странными ноздрями, а просмотреть как можно больше миниатюр в книгах, которые годами лежат, сокрытые от людских глаз. Но мне не терпелось поскорее найти улики, ведь дома меня ждет Шекюре; не хотелось верить, что великий мастер хочет провести все отпущенное нам время в этой холодной комнате.

Не помню, сколько томов мы просмотрели. Перед нами чередой проходили миниатюры, выполненные в разных мастерских на протяжении веков, нарисованные теряющими зрение художниками, а вокруг нас громоздились доспехи, шлемы, сабли и кинжалы с алмазными рукоятями, привезенные из Китая покрытые пылью чашки и изящные уды, подушки и килимы¹, изображение которых мы видели на рисунках.

После вечернего намаза, услышав, как снаружи открывают дверь, мастер Осман заявил, что у него нет никакого желания уходить отсюда, он будет всю ночь рассматривать рисунки, иначе не сумеет должным образом выполнить волю падишаха; я сразу решил остаться с ним и с карликом и сказал об этом.

Я – МАСТЕР ОСМАН

Перелистывая окоченевшими пальцами страницы и разглядывая миниатюры в книгах, посмотреть которые я мечтал сорок лет, я был, несмотря на холод, совершенно счастлив и чрезвычайно взволнован: я успел, я еще не ослеп и держу в руках желанные тома; время от времени, увидев, что тот или иной рисунок еще лучше, чем о нем рассказывали, я шептал: «Благодарю тебя, Аллах, благодарю тебя, Аллах!»

Я действительно большой мастер, и всезнающий, всеведающий Аллах, конечно же, видит это, а значит, в один прекрасный день я ослепну, но хочу ли я этого сейчас?

1. Килим – безворсовый ковер.

В слабо освещенной, забитой изумительно красивыми вещами комнате присутствие Аллаха было особенно ощутимо, и я попросил: «Дай мне посмотреть все эти книги, дай наполнить глаза красотой!» Так осужденный на смерть хочет последний раз взглянуть на окружающий мир.

Легенды в книгах повествовали о слепоте, о любви и мудрости Аллаха.

Не знаю, насколько мое волнение разделяли Кара и карлик. Открывая все новые тома, я ощущал печаль тысяч художников, которые ослепли, отдав свой талант жестоким шахам, ханам, бейам, правившим в больших и маленьких городах.

Под утро мы с карликом достали из железного сундука знаменитый список «Шах-наме» Тахмаспа; Кара спал на красном ушакском ковре¹, положив голову на бархатную, расшитую жемчугом подушку. Увидев эту книгу, я сразу понял: для меня начинается новый день.

Книга была такая тяжелая, что мы вдвоем с Джемми-ага с трудом подняли ее. Я дотронулся рукой до книги, которую двадцать пять лет назад видел издалека, и понял, что под кожей переплета – дерево. Когда умер султан Сулейман Кануни, шах Тахмасп на радостях, что избавился наконец от этого падишаха, который трижды захватывал Тебриз, прислал новому султану – Селиму – караван верблюдов с подарками, среди которых были чрезвычайно богато оформленный Коран и эта книга, лучшая из имевшихся в шахской библиотеке.

В то время для нас, османских художников, восхищавшихся обыкновенными книгами с несколькими рисунками, рассматривать громадную книгу, в которой было двести пятьдесят рисунков, было все равно что бродить по великолепному дворцу, когда все спят. Молча и почтительно мы смотрели на изумительные миниатюры в ней, а потом долго говорили об этой книге, спрятанной за семью замками.

И вот спустя двадцать пять лет я тихо, как огромную дверь дворца, открыл толстую обложку легендарного «Шах-наме». Прислушиваясь к приятному шелесту переворачиваемых мною страниц, я испытывал не столько восторг, сколько грусть.

– Джемми-ага, – сказал я, – двадцать пять лет назад мы рисовали подарки персидским послам, доставившим эту книгу шаха Тахмаспа, а потом делали книгу «Селим-наме».

1. Ушак – город в западной части Анатолии, известный изготовлением ковров.

Он тут же принес и положил передо мной том «Селим-наме». Я открыл прекрасный рисунок, показывающий сцену вручения послами подарков султану Селиму; на соседней странице перечислены все врученные подарки, и мой глаз сразу нашел то, что я когда-то уже видел, но не поверил и потому забыл:

Золотая игла для закапывания чалмы, с бирюзовой, инкрустированной перламутром ручкой; ею воспользовался самый выдающийся мастер старого Герата Бехзад, чтобы ослепить себя.

Я спросил карлика, где он нашел «Селим-наме». Он отвел меня в комнату, где в железном сундуке я увидел некоторые из подарков шаха Тахмаспа: шелковые исфаханские ковры, шахматы из слоновой кости, зонтик с китайскими драконами – изделие времен Тимура – и коробку для перьев. Я открыл коробку и увидел там слегка обгоревший, с запахом розы лист бумаги и золотую иглу с ручкой из бирюзы и перламутра. Я взял иглу и тихо вернулся на место.

Оставшись один, я положил иглу, которой ослепил себя мастер Бехзад, на открытую страницу «Шах-наме» и стал смотреть на нее. Мне всегда становилось не по себе, когда я смотрел на вещи, которых касались искусные руки мастера.

Почему шах Тахмасп послал султану Селиму в подарок вместе с книгами эту ужасную иглу? Шах ребенком брал уроки рисования у Бехзада, в юности восторгался его миниатюрами, но, дожив до преклонных лет, удалил из дворца поэтов и художников и посвятил себя Аллаху. Он легко расстался с несравненной книгой, над которой десять лет работали лучшие мастера. Он послал эту иглу с книгой, чтобы все знали, что конец художника – добровольное ослепление, или, как рассказывали одно время, для того, чтобы сказать, что тот, кто увидит один раз эту замечательную книгу, не захочет больше видеть мир. Для шаха, который, как многие правители на старости лет, раскаивался в своей греховной любви к рисунку, эта книга уже не представляла ценности.

В соседней комнате я заметил зеркало в оправе из слоновой кости с изящной вязью по ней. Я пошел и взял зеркало. Сел на место и стал рассматривать в зеркале свои глаза: в них красиво отражалось трепещущее пламя свечи.

– Как же мастер Бехзад сделал это? – спросил я себя.

Я не отрывал глаз от зеркала, а рука сама нашла иглу – так женская рука берет сурьму, чтобы подвести глаза. Не колеблясь, словно я протыкал приготовленное для росписи верблюжье яйцо, я спокойно с силой вонзил иглу в зрачок правого глаза и вытащил.

В двестишии, выведенном вязью по краю зеркала, которое я держал в руке, поэт желал нескончаемой красоты и радости тому, кто смотрится в него, и вечности самому зеркалу.

Улыбаясь, проделал я процедуру со вторым глазом.

Долгое время сидел не двигаясь. Просто смотрел.

Цвета вокруг не потемнели, как я ожидал, а словно слегка смешались. Но в общем пока я видел достаточно хорошо.

МЕНЯ ЗОВУТ КАРА

Когда утром Главный казначей и его люди, соблюдая установленную церемонию, открыли дверь, глаза уже настолько привыкли к красноватому приглушенному освещению, что свет зимнего утра, ворвавшийся со двора, показался мне чересчур ярким и неестественным. Я, как и мастер Осман, не пошевелился: мне чудилось, что, если я сдвинусь с места, исчезнет запах пыли и плесени, до которого, казалось, можно дотронуться рукой, а с ним пропадут и следы, которые мы ищем.

Мастер Осман со странным восхищением, будто впервые увидел что-то необыкновенное, смотрел на выстроившихся в два ряда служителей и золотые лучи солнца.

Дверь снова закрылась. Я со все возрастающим беспокойством ходил по комнатам вверх-вниз, с волнением думая о том, что здесь мы не найдем необходимых нам сведений, что нам не хватит времени. Я понял, что мастер Осман не слишком тщательно занимается нашим делом, и высказал ему свои опасения.

Как истинный мастер, он ласково взял меня за руку: «Нам остается лишь стараться видеть мир таким, каким его видит Аллах, и уповать на его справедливость. Я чувствую, как среди этих рисунков и вещей на нас снисходит милость Аллаха. Вот смотри: игла, которой мастер Бехзад ослепил себя».

Он приблизил к ней лупу, чтобы я мог лучше рассмотреть ее, я посмотрел внимательно на этот неприятный острый предмет и увидел на кончике влажное розовое пятно.

– Для старых художников, – сказал мастер Осман, – вопрос о том, можно ли менять манеру своей работы и цвета красок, которым они отдали всю жизнь, был делом совести. Они считали недостойным сегодня видеть мир глазами восточного шаха, а завтра – глазами западного правителя, как нынешние мастера.

Он не смотрел ни на меня, ни на книгу, лежащую перед ним. Казалось, взгляд его устремился в бесконечность. На открытой стра-

нице «Шах-наме» сошлись армии Ирана и Турана; лошади сталкивались друг с другом, сабли кавалеристов крошили щиты и рассекали всадников, истекающие кровью тела без голов и рук падали на землю, отважные воины, выхватив сабли, убивали друг друга, и все это было изображено в красочных праздничных тонах.

– Когда великих мастеров прошлого вынуждали работать в чужой манере и подражать чужим мастерам, они смело брали в руки иглу и ослепляли себя, чтобы защитить свою честь, и после этого, до того момента, когда на них сходила как награда Аллаха вечная слепота, они клали перед собой какую-нибудь замечательную миниатюру и смотрели на нее не отрываясь часами, иногда днями. Они не поднимали головы, и иногда из их глаз на лист падали капли крови; мир и смысл этого рисунка с пятнами крови постепенно вытеснял зло, сидевшее внутри художника, глаза которого потихоньку покрывались пеленой. Какое это счастье! Знаешь, на какой рисунок я хотел бы смотреть до того, как окончательно ослепну? Хосров примчался на коне ко дворцу Ширин и ждет ее – есть такой рисунок, выполненный в манере старых мастеров Герата.

Возможно, он стал бы подробно рассказывать об этой сцене, но я перебил его:

– Учитель, мастер, а мне бы хотелось не отрываясь Смотреть на милое лицо моей любимой. Я женился на ней три дня назад. Двенадцать лет я с тоской думал о ней. Сцены, изображающие любовь Ширин и Хосрова, всегда напоминает мне о ней.

Лицо мастера Османа, может, и выражало некий интерес, но интерес этот не имел отношения ни к моему рассказу, ни к сцене войны, изображенной в лежащей перед ним книге. Он будто ожидал доброй вести. Убедившись, что он меня не видит, я взял иглу и отошел.

В одной из комнат, находящейся по соседству с баней, был укромный уголок, где хранилось множество причудливых сломанных часов – подарки разных европейских королей и правителей. Я пошел туда и там внимательно рассмотрел иглу, которой, как рассказал мастер Осман, ослепил себя Бехзад.

На кончике иглы совершенно явно блестела розовая жидкость. Неужели легендарный мастер Бехзад действительно ослепил себя этой иглой? Неужели мастер Осман повторил это деяние Бехзада? Думая, что обязательно спрошу его об этом, я машинально перебирал лежащие передо мной в беспорядке рисунки и вещи. Мое внимание привлек сделанный на ткани рисунок свадебного кортежа. Я увидел изображенную там лошадь, и сердце мое учащенно забилось.

Передо мной была лошадь со странными ноздрями. Она несла на себе капризную невесту и смотрела прямо на меня, будто собиралась открыть мне тайну. Хотелось кричать, но голоса не было.

Я схватил ткань, натываясь на вещи и сундуки, бросился к мастеру Осману и положил перед ним свою находку:

– Ноздри у лошади точно такие, как у лошади на рисунке, сделанном для книги Эниште!

Он вплотную приник к лупе, которая почти касалась рисунка.

– Как видите, – не выдержал я затянувшегося молчания, – лошадь здесь нарисована в другой манере, но ноздри те же. Художник старался видеть мир, каким его видели китайцы. Рисунок похож на китайский, но как будто рисовали не китайцы, а наши.

Лупа мастера словно приклеилась к рисунку, а его нос к лупе.

– Ноздри лошади усечены, – произнес он наконец, тяжело дыша. – Усекать ноздри лошадям, чтобы они лучше дышали и дольше бежали, – вековая традиция монголов. Однако лошади на том расплывшемся рисунке не напомнили мне монгольских. Они выполнены в персидской манере, как работы старых мастеров Герата.

– Но ноздри усечены точно как у монгольских лошадей, – напомнил я.

– Видимо, лет двести назад, когда установилось господство Тимура и его сыновей, кто-то из старых мастеров, работавших в Герате, сделал рисунок великолепной лошади и, то ли увидев, то ли вспомнив монгольскую лошадку, наградил ее изящно усеченными ноздрями. Некоторым художникам это понравилось, и они сами стали рисовать лошадям такие ноздри и учили этому своих учеников, говоря, что так рисовали старые мастера.

– Мастер, – сказал я с чувством восторга, – способ «недима», как мы и ожидали, дал результат. Значит, все-таки есть у каждого художника своя манера?

– Не у художника – у мастерской, – уточнил он с гордостью. – Причем не у каждой мастерской. В некоторых мастерских, как в недружных семьях, каждый дует в свою дуду и не понимает, что счастье – в гармонии, а гармония – это счастье. Одни работают, как китайцы, другие – как туркмены, третьи – как ширазцы, четвертые – как монголы, и они годами грызутся, ссорятся и не могут найти согласия, как порой бывает с неудачливыми мужем и женой.

– Мастер, но вы здесь, в Стамбуле, за двадцать лет сумели так подчинить единой гармонии художников с четырех сторон света, с разными характерами и взглядами, что создали османский стиль. – Я долго нашептывал похвалы,

Во взгляде мастера Османа появилось самодовольство – сле-
пые часто не могут контролировать выражение лица. Я долго вос-
хвалял старого мастера, а потом спросил:

– Вы определили, кто нарисовал ту лошадь?

– Зейтин. Он это так сказал, что я даже не удивился, и, помол-
чав, добавил:

– Но я уверен, что не он убил твоего Эниште и несчастного
Зарифа-эфенди. Лошадь нарисовал Зейтин, это ясно, потому что он
больше всех следует манере старых мастеров, лучше всех знает
традиции Герата. Ты спросишь, почему мы не встретили таких ноз-
дрей в других рисунках лошадей у Зейтина? Иногда в памяти уче-
ника прочно закрепляются какие-то мелочи, которые передавались
из поколения в поколение, например, как выглядит птичье крыло
или держится лист на дереве. Но по какой-нибудь причине, скажем
из-за вкуса падишаха, ученик рисует по-другому. Получается, что
Зейтин усвоил рисунок именно этой лошади в детстве, когда учил-
ся у персидских мастеров, и так и не смог забыть ее. Зачем Зейтину,
так привязанному к традициям Герата, убивать несчастного Зари-
фа-эфенди, который был привержен старой манере еще сильнее его?

– Кто же? – спросил я. – Келебек?

– Лейлек, – сказал он. – Это мне подсказывает сердце. Я знаю
его страстную увлеченность, его неистовую работоспособность. По
всей вероятности, несчастный Зариф-эфенди, который работал для
твоего Эниште, увидел в подражании европейским мастерам без-
божие, ересь, неверие и испугался. С одной стороны, он был на-
столько глуп, что прислушивался к болтовне этого ненормального
эрзурумского проповедника, но с другой – знал, что книга, кото-
рую делает твой Эниште, это тайное и великое дело падишаха; его
мучили страх и сомнения: кому верить – падишаху или проповед-
нику из Эрзурума? В другое время он доверился бы мне, своему
мастеру. Но даже он своими куриными мозгами понимал, что, ра-
ботая в подражание европейским мастерам, он предаст меня и нашу
мастерскую, и поэтому он поделился с хитрым и жадным Лейле-
ком; свое уважение к таланту Лейлека он не задумываясь перенес
на личность художника. Я много раз видел, как Лейлек злоупо-
треблял восхищением Зарифа-эфенди. Между ними мог возникнуть
спор, и Лейлек убил Зарифа. Возможно, Зариф-эфенди еще раньше
поделился своими страхами с эрзурумцами, и они решили отомстить
за смерть товарища; поскольку виновником считался твой Эниште,
поклонник Европы, они убили его. Не могу сказать, что меня это
сильно огорчило. Много лет назад Эниште заставил нашего пади-

шаха заказать венецианскому художнику портрет, как принято у гяурских королей, а потом по наущению Эниште падишах приказал мне сделать копию с портрета. Из страха перед повелителем я скопировал портрет, но тем самым совершил позорное и унижающее мою честь дело. Если бы не это, может, я и пожалел бы о смерти твоего Эниште и больше старался бы сегодня найти негодяя-убийцу. Моя забота – вовсе не твой Эниште, а моя мастерская. Из-за твоего Эниште художники, которых я растил много лет и каждого из которых люблю, как собственного ребенка, предали меня и все наши художественные традиции, они начали с воодушевлением подражать европейским мастерам, потому что, видите ли, того желает наш падишах. Они бесчестны и заслуживают пыток! Рая мы достойны, когда служим своему таланту и искусству больше, чем падишаху, который дает нам работу. А теперь я хочу в одиночестве посмотреть эту книгу.

Я отошел подальше, забился в угол между шкафами, расшитыми жемчугом подушками, ржавыми ружьями, инкрустированными драгоценными камнями, и стал наблюдать за мастером Османом. Меня терзали ужасные подозрения, возникшие, пока я слушал его. Мне показалось весьма вероятным, что убийство и Зарифа-эфенди, и Эниште подстроил мастер Осман, стремясь остановить работу над книгой для нашего падишаха.

Когда стемнело, я подошел с мастеру Осману:

– Эфенди, когда откроют дверь, я, с вашего позволения, хотел бы уйти отсюда.

– Вот как! У нас же есть еще ночь и утро! Быстро же глаза твои насытились зрелищем красивейших рисунков, созданных за всю историю.

Говоря это, он не отрывал глаз от лежащей перед ним книги; бледнеющий цвет его зрачков говорил о том, что он потихоньку слепнет.

– Мы ведь узнали тайну лошадиных ноздрей.

– Да! Разумеется! – сказал он. – Остальное – дело падишаха и Главного казначея. Может, они простят нас всех.

Назовет ли он им Лейлека как убийцу? От страха я даже не спросил об этом. Я боялся, что он не разрешит мне уйти. И еще мне пришлось в голову, что он может обвинить меня.

– Пропала игла, которой Бехзад ослепил Себя, – сказал он.

– Наверно, карлик положил на место, – предположил я.

Когда во время вечернего азана дверь снова открылась, мастер Осман по-прежнему смотрел в книгу. Но он как-то странно нахло-

нился – как слепой над поставленной перед ним тарелкой.

Стражники, узнав от Джемми-ага, что мастер Осман останется работать, не очень тщательно обыскали меня и не нащупали иглу, которую я воткнул в нижнее белье. Выйдя из дворца, я достал страшную вещь, ослепившую легендарного Бехзада, воткнул ее в пояс и почти бегом отправился домой.

Было радостно оттого, что я жив-здоров и иду к Шекюре, и от мысли, что сегодня я буду спать с ней в одной постели, поскольку убийца, можно сказать, найден.

Я подошел к дому. То ли по скрипу калитки, то ли по безопасности, с которой воробей пил воду из ведра у колодца, то ли еще по чему, не знаю, но обостренным чутьем человека, прожившего двенадцать лет в одиночестве, я понял, что в доме никого нет. Человек с грустью понимает, что он совсем один, но зачем-то открывает двери, шкафы, сундуки. Так поступил и я. Заглянул даже в кастрюли.

МЕНЯ ЗОВУТ ЭСТЕР

Я варила на ужин чечевичный суп, когда Несим сказал: «Тебя кто-то спрашивает».

У дверей я увидела Кара, и мне стало его жаль. У него было такое выражение лица, что страшно было даже спросить о чем-либо.

Я взяла узел с товаром, и мы пошли по нашему нищему еврейскому кварталу, наблюдая за жидким, как пар из кастрюли бедняка, дымком из труб. Я сказала Кара:

– Муж Шекюре вернулся с войны.

Кара молчал. В сумерках лицо его было цвета золы.

– Где они?

Я поняла, что Шекюре и детей нет дома. «В своем доме», – сказала я и заметила, как помрачнел Кара, потому что эти слова означали дом бывшего мужа Шекюре.

– Я не видела ни его, ни Шекюре с детьми, покидающих дом, – тут же добавила я.

– Расскажи мне все, – потребовал он решительно.

– Хасан проник в ваш дом, – начала я и отметила, что он обрадовался, когда услышал «ваш дом», – и сказал Шевкету, что его отец возвращается с войны, что после обеда он уже будет здесь и очень огорчится, если не застанет дома жену и детей. Шевкет передал это известие матери, Шекюре сомневалась и не могла принять никакого решения. Но после обеда Шевкет убежал и с дядей Хасаном отправился к деду.

– Что сделала Шекюре?

– Всю ночь она с Орханом ждала тебя, бедняжка. Хасан, узнав, что Шекюре проводит ночь в одиночестве, что она боится убийцы и привидений, послал со мной еще одно письмо к ней.

– Что в нем было?

– Я не умею читать писем, я только вижу лица красавиц.

– Что же ты увидела на лице Шекюре?

– Безднадежность. Слушай, а куда ты меня тащишь? Если ты соберешь людей, я не поведу тебя к дому Хасана, я ужасно не люблю ссор и драки.

– Если ты, как всегда, будешь умницей, Эстер, то не будет ни ссоры, ни драки.

Мы миновали Аксарай и двинулись на окраину города. В старом квартале на холме Кара зашел в парикмахерскую, открытую несмотря на поздний час. Парикмахер, красивый подмастерье и еще два человека через некоторое время присоединились к нам. В руках у них были сабли и топоры. В квартале Шехзадебаши, в переулке к нам примкнул учащийся медресе, которому совершенно не шла сабля в руке.

– Вы что, среди бела дня нападете на них? – спросила я.

– Нет, ночью, – ответил Кара серьезно.

– Не очень-то надейся на себя, хоть и собрал столько воинов, – посоветовала я. – Смотри, чтобы янычары не увидели твою вооруженную армию.

– Никто не увидит.

– Вчера люди эрзурумского проповедника напали сначала на мейхане¹, а потом на обитель дервишей, избили много людей. Один старик получил удар поленом по голове и умер. В темноте вас могут принять за эрзурумцев.

– Ты была в доме покойного Зарифа-эфенди и видела расплывшееся изображение лошадей на листке; ты сказала об этом Шекюре. Зариф-эфенди был очень близок с людьми эрзурумского проповедника?

– Я пыталась поговорить с хозяйкой, потому что хотела помочь моей Шекюре. Я зашла туда показать новые ткани, привезенные на голландском корабле. Где уж мне с моим жалким еврейским умом до ваших шариатских и политических дел.

– Эстер-ханым, ты очень умная.

1. Мейхане – питейный дом.

– Раз я умная, то я тебе скажу: люди этого эрзурумского проповедника могут еще больше разъяриться и погубить много людей, бойтесь их.

Когда мы дошли до улицы, где жил Хасан, сердце мое от страха забилося часто-часто. Я указала Кара дом. Кара распределил своих людей: в огороде, по обеим сторонам двери и позади фигового дерева. Потом протянул мне свернутый лист бумаги:

– Иди, отдай письмо Хасану, а если его нет, то его отцу.

– А Шекюре ты ничего не написал? – спросила я, взяв письмо.

– Если я пошлю ей отдельное письмо, это еще больше разозлит мужчин. Скажи ей только, что я нашел подлого убийцу ее отца.

– Это правда?

– Твое дело – сказать.

– Праздничные одежды из китайского шелка, – закричала я привычным голосом торговки.

Дверь открылась. Вежливый отец Хасана пригласил меня войти. Здесь было тепло. Сидящая за столом с детьми Шекюре, увидев меня, поднялась.

– Шекюре, твой муж пришел, – сказала я.

– Который?

– Новый. Дом окружен вооруженными людьми. Они готовы схватиться с Хасаном.

– Хасана нет дома, – сказал свекр Шекюре.

– Слава Всевышнему! На-ка, прочти письмо, – сказала я с гордостью посла, сообщающего твердую волю падишаха.

Пока свекор читал письмо, Шекюре предложила:

– Пойдем, я тебе дам горячей еды, согреешься. Я сообразила, что она хочет переговорить со мной наедине, и пошла за ней.

– Скажи Кара, что все получилось из-за Шевкета, – прошептала она. – Мы с Орханом вчера всю ночь дрожали; опасаясь убийцы. Шевкет убежал. Кара не вернулся домой, мне сказали, что палачи падишаха заставили его говорить, и он признался в причастности к убийству моего отца.

– Но разве он не был с тобой в момент убийства отца?

– Эстер, – сказала моя красавица, глядя на меня широко раскрытыми черными глазами. – Помоги мне.

– Объясни, зачем ты вернулась сюда, и если я пойму, то помогу.

– Ты думаешь, я знаю, почему вернулась? – Она сделала вид, что чуть не плачет. – Кара грубо обошелся с Шевкетом. Я поверила, когда Хасан сказал, что возвращается отец детей.

Но по глазам я видела, что она говорит неправду и понимает, что я это понимаю. «Я поверила Хасану!» – шептала она, видимо давая мне понять, что любит Хасана. Сознавала ли Шекюре, что стала больше думать о Хасане после того, как вышла за Кара? Я вдруг поняла, как на самом деле обстоят дела: Шекюре не искала себе мужа, она искала отца, который полюбит бы этих детей; глядящих на нее сейчас глазами, полными страха; Шекюре готова была принять любого хорошего человека.

– Ты ищешь сердцем, – сказала я, – а надо принять решение умом.

– Я тотчас же вернусь к Кара, – произнесла она и, помолчав, добавила: – Но у меня есть условие: он будет хорошо обращаться с Шевкетом и Орханом. И не будет меня корить за то, что я укрылась здесь. И будет соблюдать условия нашего брака – он знает. Вчера ночью он оставил меня дома одну, и я была совершенно незащищена перед убийцей, перед вором, злодеем, тем же Хасаном.

– Он еще не сумел найти убийцу твоего отца, но велел сказать тебе, что нашел.

– Вернуться мне к нему?

Не успела я ничего ответить, как в комнату вошел бывший свекр с письмом Кара:

– Скажите Кара Челеби, что в отсутствие сына я не могу взять на себя ответственность и вернуть ему невестку.

– Какого сына? – спросила я мягким, но противным голосом.

– Хасана, – сказал он и устыдился, поскольку был хорошо воспитан. – Говорят, мой старший сын возвращается из страны персов. Есть свидетели.

– А где Хасан? – Я отправила в рот ложку супа, налитого мне Шекюре.

– Он пошел на таможню собирать знакомых писарей, носильщиков. – Этот человек не умел врать и изворачиваться и выглядел глупо. – После того, что натворили эрзурумцы, сегодня на улицах будет много янычар.

– Мы никого не видели. – Я направилась к двери. – Это твое последнее слово?

Я задала этот вопрос, повернувшись к свекру, но Шекюре сразу поняла, что я обращаюсь к ней. Правда ли она так растеряна или что-то скрывает, например то, что ждет, когда вернется Хасан со своими людьми?

– Мы не хотим Кара, – отважно заявил Шевкет. – А ты больше не приходи сюда, толстуха.

Оставив узел, я вышла на улицу, и передо мной тут же возник Кара с саблей в руке.

– Хасана нет дома, – доложила я, – может, пошел за вином – отпраздновать возвращение Шекюре. А может, как говорит его отец, скоро вернется со своими людьми. Тогда придется драться, он сумасшедший. А уж если возьмет саблю с красным эфесом....

– Что сказала Шекюре?

– Свекор сказал: нет, не отдам, мол, невестку, но ты бойся не его, а Шекюре. Если бы ты меня спросил, я бы тебе сказала, что у нее полная путаница в голове и она вернулась в этот дом, так как поняла, что всего через два дня после убийства отца не в силах провести еще одну ночь в одиночестве; она боится убийцы, ей угрожает Хасан, а ты исчез непонятным образом. Кроме того, ей сказали, что ты причастен к убийству ее отца. Но прежний муж Шекюре не возвращается. В ложь Хасана поверил Шевкет, он ждет отца. Шекюре намерена вернуться к тебе, но у нее есть условия.

Глядя прямо в глаза Кара, я перечислила условия. Он тут же принял их, разговаривая со мной, как с настоящим посланцем.

– У меня тоже есть условие, – добавила я, показывая на окна дома. – Я возвращаюсь туда. Через некоторое время вы нападете. Я закричу, вы отступайте. А когда появится Хасан, деритесь сколько хотите.

Конечно, это были слова, недостойные миссии посла, но я, ваша Эстер, уже увлеклась игрой. Я прокричала: «Продаю...», и дверь сразу открылась. Я подошла к свекру:

– Весь квартал, здешний кадий, все, кто здесь живет, знают, что Шекюре разведена и снова вышла замуж в соответствии с требованиями Корана. Даже если твой сын, что давно умер, воскреснет и вернется сюда из рая, от пророка Мусы, это ничего не изменит, Шекюре разведена. Вы выкрали замужнюю женщину и прячете ее здесь. Кара просил меня передать, что, прежде чем вас накажет кадий, он сделает это сам со своими людьми.

Кара и его люди бросились в наступление. Стучали в двери и окна, с каждым ударом в доме словно разрывался снаряд.

– Ты видел жизнь, ты образованный человек. – Я осмелела от своих слов. – Открой дверь, скажи, что Шекюре сама пришла, пускай они останятся, эти бешеные собаки.

– Если бы ты была на моем месте, ты бы отдала этим собакам нашедшую в твоём доме приют одинокую женщину, да еще твою невестку?

– Она сама хочет уйти.

– Тогда пусть открывает дверь и уходит.

– Я не буду открывать дверь. Получится, что я ушла добровольно, – быстро сказала Шекюре.

– Милая моя Шекюре, я тоже не могу открыть дверь. Ты же знаешь, тогда получится, что я сую нос в ваши дела. Мне за это жестоко отомстят. Дверь может открыть Орхан, он ведь хочет вернуться домой, никто не будет сердиться на него.

Не успела я сказать это, как Орхан высвободился из ослабевших объятий матери, подошел к двери, уверенно отодвинул щеколду, потом деревянную задвижку и, сняв крючок, отступил на два шага. В приоткрывшуюся дверь ворвался холод. Наступила такая тишина, что мы услышали ленивый лай собак откуда-то очень издалека. Орхан вернулся к матери, Шекюре поцеловала его, а Шевкет пригрозил: «Все расскажу дяде Хасану».

– Бойтесь Хасана и его сабли с красным эфесом, – сказал свекор, справедливо обеспокоенный поражением и возможной мстостью. Он ласково расцеловал внуков. Шепнул что-то на ухо Шекюре.

Наша группа, охраняемая людьми Кара, как караван, перевозящий драгоценности, шла боковыми улицами, проулками, мы выбирали дорогу так, чтобы не столкнуться со сторожами, янычарами, бандитами и Хасаном.

Мы были на темной улице позади рынка Эсир, когда услышали крики, вопли, рыдания и характерный, ни на что не похожий стук и звон скрещенных топоров и сабель.

Кара отдал саблю одному из своих людей, вырвал кинжал из рук Шевкета (мать позволила мальчику взять его в память об отце), отчего тот заплакал, велел Шекюре, Хайрие и детям уходить в сопровождении подмастерья парикмахера и еще двоих людей.

В конце узкой улицы, которую нам надо было перейти, находилась кофейня. Звон сабель прекратился. Люди с криками входили и выходила из кофейни и крушили все подряд. При свете факелов было видно, как выносят на улицу и на глазах у всех разбивают чашки, стаканы, ломают джезве. Человека, который попытался остановить эти действия, начали бить, но он вырвался. Сначала я подумала, что все это связано исключительно с кофе. Потому что слышала, как рассказывали о вреде кофе, о том, как он портит глаза и желудок, как туманит мозги и сбивает людей с истинного пути, какая это европейская отравка и как Пророк Мухаммед отказался от кофе, хотя шайтан предложил его ему в образе красивой женщины.

Посмотреть на редкое зрелище собралась большая толпа безработных, безродных, неведомо откуда пришедших переселен-

цев; увидев зрителей, враги кофе совсем осмелели. Я поняла, что это люди известного проповедника из Эрзурума Нусрета Ходжи. Они боролись с вином и проституцией, с кофейнями, обителями, где религиозные обряды совершались под музыку и с танцами. Они проклинали врагов веры, безбожников и тех, кто занимался рисованием. Я вспомнила, что это та самая кофейня, где на стену вешают рисунки и говорят всякие непристойности про веру и проповедника из Эрзурума.

На улицу выскочил владелец кофейни; лицо его было в крови, я думала, он сейчас упадет, но он вытер рубашкой кровь со лба и щеки, и стал, как другие зрители, наблюдать за происходящим. Толпа в страхе отступила. Мне показалось, что Кара хочет подойти к кому-то в толпе, но он почему-то медлил. Эрзурумцы стали отходить, и я поняла, что, вероятно, наступают другие – янычары. Факелы погасли, люди разошлись.

МЕНЯ НАЗЫВАЮТ КЕЛЕБЕК

Увидев толпу, я сразу понял, что эрзурумцы убивают нашего брата, шутников-художников.

Среди наблюдавших за погромом я увидел Кара. В руке у него был кинжал, рядом стояли несколько странных мужчин, знаменитая торговка Эстер, еще несколько торговков с узлами. Я смотрел, как безжалостно крушат кофейню и избивают выходящих из нее. В голове промелькнуло:

«Бежать надо отсюда». И в этот момент подросла другая толпа, наверно янычары; эрзурумцы погасили факелы и сбежали.

Выяснилось, что эрзурумцы убили меддаха.

Кара подошел ко мне, и мы молча пошли по улице. Наконец он произнес:

– Сейчас мы пойдем к тебе. Я хочу обыскать твой дом и успокоиться.

– Уже обыскали, – очень громко сказал я: мы подходили к дому, и я надеялся, что моя красавица жена услышит, что я не один, и не покажется Кара.

Когда мы входили в калитку, мне почудилось, что внутри дома сверкнул дрожащий свет, но сейчас, слава Всевышнему, было темно,

Кара зажег свечу и стал рассматривать мои бумаги и рисунки.

– Я ищу последний рисунок из книги Эниште, – пояснил он, – тот, кто его убил, украл этот рисунок.

– Я рисовал там дерево, в углу, на заднем плане. А на переднем плане должно было быть изображение какой-то личности, скорее всего светлейшего падишаха. Но портрета еще не нарисовали. То, что находилось на заднем плане, должно было быть уменьшено, как у европейцев, поэтому Эниште попросил меня нарисовать маленькое дерево. При взгляде на этот рисунок складывалось ощущение, что смотришь на мир через открытое окно. Я понял тогда, что рисунок с использованием перспективы – это все равно что оконная рама.

– Раскрашивал рисунок Зариф-эфенди.

– Я его не убивал.

– Человек, если и убьет, не скажет, что убил.

Кара поинтересовался, что я делал около кофейни, когда на нее напали.

Свечу он поставил недалеко от коврика, на котором я сидел, между моими рисунками и бумагами, она освещала мне лицо. Сам же Кара в полумраке, как тень, метался по комнате.

– Зачем ты ходил в кофейню к этим неверным?

– Так и быть, признаю тебе: не только мастер Осман, но и падишах признают, что я самый талантливый из художников, поэтому я стал бояться зависти остальных, и, чтобы они не навредили мне, я изредка появляюсь там, где они бывают, стараюсь быть на них похожим. Понимаешь?

– Мастер Осман сказал, что ты стесняешься таланта, данного тебе Аллахом, и прилагаешь слишком много усилий, чтобы нравиться окружающим.

– Мастер Осман талантлив, почти как Бехзад, – заметил я. – Что еще он говорил?

– Перечислил твои недостатки.

– И какие же у меня недостатки?

– Несмотря на талант, ты рисуешь не ради искусства, а ради того, чтобы тебя заметили. Когда ты рисуешь, самая большая радость для тебя – представлять, какое удовольствие получают зрители от твоей работы. А следовало бы научиться рисовать ради собственного удовольствия.

Меня задело, что мастер Осман так открыто говорил о моих недостатках не художнику, а человеку, который был секретарем, писал письма, угодничал. А Кара добавил:

– Он сказал, что великие мастера прошлого вырабатывали свой стиль и приемы, чтобы потом никогда не изменять установленным принципам; чтобы не отказываться от них в угоду новому шаху,

новому наследнику или вкусам нового времени, они героически ослепляли себя. Вы же под предлогом исполнения желания падишаха с удовольствием и не думая о чести подражали европейским мастерам, рисуя для книги, которую готовил Эниште.

– Великий мастер Осман не сказал тем самым ничего плохого, – возразил я. – Пойду приготовлю тебе липовый чай.

Я пошел в соседнюю комнату, открыл шкаф, стоящий рядом с расстеленной постелью, достал спрятанную среди ароматного постельного белья саблю с эфесом из агата и вынул ее из ножен. Она была такая острая, что рассекала надвое брошенный на нее шелковый носовой платок, а листочек сусального золота разрежала будто по линейке.

Держа саблю за спиной, я вернулся в свою рабочую комнату. Кара был доволен своим допросом и расхаживал вокруг красного коврика с кинжалом в руке. Я положил на коврик незаконченный рисунок. Он наклонился, рассматривая его.

Я толкнул его сзади, он упал на пол, и я навалился сверху. Кинжал выпал из его руки. Я приставил саблю к его шее.

– Режет, – простонал он.

– Кара-эфенди, – сказал я, – ты, вошедший в мой дом, в мое святилище с кинжалом, чтобы допрашивать меня, чувствуешь ли ты теперь мою силу?

– Я чувствую еще и твою правоту.

– Ладно, спрашивай о чем хочешь.

– Мастер Осман тебя часто бил?

– Бил, как бьет отец, по справедливости и как положено мастеру, чтобы наказать и научить. Иногда он с такой силой ударял по уху, что у меня много дней стоял звон в ушах, я ходил, как ненормальный. А иногда влеплял пощечину, и потом щека горела неделями и глаз слезился. Я не забыл этого, но люблю моего мастера.

– Нет, – сказал Кара, – ты всегда злился на него. В душе твоей накопилась злоба, и ты мстил ему, делая подражательные европейским рисунки для книги Эниште.

– Ты не знаешь художников. Совсем наоборот. Побои, полученные художником в период ученичества, идут ему во благо. Художник испытывает любовь и глубокую привязанность к учителю до самой его смерти.

– Пойдем к Зейтину и перевернем его дом, – предложил Кара. – Если последний рисунок у него, мы будем знать, кого надо опасаться. А если нет, возьмем его и втроем явимся к Лейлеку.

Я отпустил его. Он поднялся. Я извинился, что не приготовил ему даже липового чая. Увидев у него на шее чуть заметный след от сабли, я сказал, что это знак нашей дружбы. Саблю мы брать не стали, решили, что достаточно его кинжала.

Мы быстро дошли до дома Зейтина, постучали в дверь, в закрытые ставни: никого. Кара вслух высказал мысль, которая мелькнула у нас обоих:

– Войдем?

Мы сбили кинжалом замок и открыли дверь. На нас пахнуло застоявшимся запахом сырости, грязи и одиночества.

Пока Кара копался в бельевых корзинах, перебирал содержимое сундуков и коробок, я ни к чему не прикасался, а рассматривал комнату: расческа из эбенового дерева, грязное банное полотенце, бутылки из-под розовой воды, забавный индийский набивной передник, халат, старое ферадже¹ с разрезом, погнутый медный поднос, грязные ковры и другие старые вещи. Странно, ведь он зарабатывал большие деньги. Или он очень скуп, или сразу спускает заработанное...

– Настоящий дом убийцы, – заключил я, – нет даже молитвенного коврика, – но, подумав, добавил, – вещи человека, который не умеет быть счастливым.

Достав со дна сундука, Кара положил передо мной серию рисунков выполненных на грубой самаркандской бумаге. Мы увидели вышедшего из подземелья развеселого шайтана, дерево, собаку и нарисованную мной Смерть: это были рисунки, которые вешал на стену убитый меддах, когда рассказывал свои непристойные истории. Кара показал на рисунок, изображающий Смерть:

– В книге Эниште был точно такой же.

– И меддах, и владелец кофейни каждый вечер просили художников делать рисунки, которые тут же вывешивались на стену. Пока кто-нибудь из нас быстренько рисовал, что заказывали, меддах перебрасывался шутками с посетителями, а когда рисунок был готов, приступал к рассказу.

– Почему ты нарисовал для меддаха тот же рисунок, что и для книги Эниште?

– Для меддаха я рисовал наспех, совсем не так, как для Эниште, когда выписывал каждую черточку. Другие тоже, возможно ради шутки, быстро и упрощенно рисовали меддаху рисунки из тайной книги.

1. Ферадже – легкая верхняя одежда.

– А кто нарисовал лошадь? – спросил Кара.

Мы поднесли свечу поближе и с восхищением смотрели на изображение лошади с усеченными ноздрями. Она была похожа на лошадь, нарисованную для книги Эниште, но выполнена без старания, для людей непритязательных. Как будто кто-то дал художнику мало денег и заставил его рисовать быстро и грубо.

– Кто нарисовал эту лошадь, лучше всех знает Лейлек, – сказал я. – Этот самовлюбленный дурачок жить не может без сплетен о художниках и потому ходит в кофейню каждый вечер. Я уверен, что это он нарисовал лошадь.

МЕНЯ НАЗЫВАЮТ ЛЕЙЛЕК

В полночь пришли Келебек и Кара, разложили рисунки на полу и потребовали, чтобы я сказал, кто какой нарисовал. При этом Келебек приставил мне к горлу кинжал.

Собаку нарисовал я. Мы все помним «собачью» историю, рассказанную так подло убитым меддахом. Смерть – работа Келебека. Я помнил, с каким вдохновением Зейтин рисовал для меддаха шайтана. Дерево начал я, а потом листья рисовали все художники, пришедшие в кофейню. С красным рисунком было так: на бумагу капнули красной краски, меддах удивился: какой же рисунок из одной капли? Капнули еще краски, а потом художники стали рисовать красным, каждый свое, и каждый рассказывал, что рисует, чтобы потом услышать свой рассказ из уст меддаха. Вот эту прекрасную лошадь – браво! – нарисовал Зейтин. Келебек убрал кинжал от моего горла, и я извинился, что дом не прибран, меня застали врасплох, и я не могу предложить ни ароматного кофе, ни сладкого померанца, потому что моя жена спит.

Я им рассказал, что, когда эрзурумцы напали на кофейню, там, как всегда, было довольно многолюдно: кроме меня был Зейтин, художник Насыр, каллиграф Джемаль, два молоденьких подмастерья, молодые художники, несколько поэтов, курильщики опиума, бродячие дервиши и еще какие-то посторонние – всего человек сорок. В кофейню ворвалась разъяренная толпа, начался общий переполох, собравшиеся перепугались и ринулись к дверям; в этой суматохе никто даже не подумал встать на защиту кофейни и несчастного старика-меддаха. Опечален ли я этим? Да! Очень! Я, Мусаввир Мустафа, по прозвищу Лейлек, глядя в глаза туповатого Келебека, объяснил, что считаю совершенно необходимым вечерами сидеть с братьями-художниками, беседовать, шутить, читать стихи.

Келебек и Кара сказали, что рисунки из кофейни они нашли в пустом доме Зейтина, и спросили, что я об “этом думаю. Я ответил, что тут и думать нечего: владелец кофейни, как и Зейтин, – бродячий дервиш, попрошайка, вор, чужак и подлец. Наивный Зариф-эфенди, который дрожал от страха, слушая по пятницам суровые наставления проповедника, собирался пожаловаться эрзурумцам на происходящее в кофейне. Может, он даже попытался урезонить художников, и тогда Зейтин, одного поля ягода с владельцем кофейни, зверски убил несчастного. Эрзурумцы разозлились, возможно, Зариф-эфенди рассказал им про книгу, они сочли Эниште виновным и убили и его, а сегодня осуществили и второй акт мести – разгромили кофейню.

Роясь в моих вещах, Келебек и Кара наткнулись на сапоги и мои походные доспехи, и я увидел выражение зависти на лице Келебека. Я с гордостью сообщил им то, что все давным-давно знали: когда-то я отправился с армией в поход и первым из мусульманских художников изобразил увиденные собственными глазами полет ядер, башни вражеских крепостей, одежду неверных воинов, плывущие по рекам трупы, выстроившиеся на конях, готовые к атаке войска. Я сказал, что нельзя больше рисовать два войска по одной болванке: застывшие друг против друга воины на лошадях. На войне все перемешано: воины, лошади, доспехи, окровавленные трупы; так я это видел, так и рисую.

– Художник рисует не то, что видит он, а то, что видит Аллах, – напомнил Келебек.

– Правильно, – сказал я, – но Аллах видит то, что видим мы.

– Аллах видит то, что видим мы, но не так, как видим мы, – упрекнул меня Келебек. – Войну, которую мы видим как хаотичный беспорядок, он видит как два застывших друг против друга войска.

У меня был для него ответ, я хотел сказать: давай верить Аллаху и рисовать то, что он нам показывает, а не то, чего он нам не показывает, но я промолчал. Мне не хотелось ссориться с ними, так же как не хотелось угодить в ловушку, устроенную мне Зейтином.

Они признались, что ищут рисунок, украденный убийцей. Я сказал, что мой дом уже обыскивали, а умный убийца – я думал о Зейтине – спрячет рисунок в недоступном месте. Кара долго рассказывал о лошадях с усеченными ноздрями и о том, что три дня, которые наш падишах дал мастеру Осману, – на исходе. Я настаивал на том, что лошадь с усеченными Ноздрями изобразил Зейтин,

Кара, глядя прямо мне в глаза, сказал, что мастер Осман думал о Зейтине, но зная мою алчность, больше всех подозревал меня.

Мне надо было убедить их, что мастер Осман не прав в отношении меня. Но если я скажу, что великий мастер ошибается, выжил из ума, я сразу Восстановлю против себя Келебека.

Я стал говорить о том, что книга Эниште – это чудо, которому нет равных. Когда этот шедевр будет исполнен в том виде, как повелел падишах и как хотел покойный Эниште, весь мир будет поражен силой и богатством падишаха, а также нашим талантом и мастерством.

Мастер Осман – наш отец, наш учитель, всему, что мы знаем, мы научились у него, но он настроен против этой замечательной книги. Почему, напав на след убийцы в хранилище падишаха и поняв, что это Зейтин, мастер старается скрыть это? Я сказал, что Зейтин скорее всего прячется в заброшенной дервишской обители недалеко от Фенеркапы. Обитель эта – гнездо позора и безнравственности – была закрыта в годы правления деда нашего падишаха; я напомнил, что Зейтин одно время похвалялся, что обитель снова откроют.

– Получилось так, что все мы предали мастера Османа, – сказал я, – и сейчас, пока нас всех не наказали, надо найти Зейтина, выяснить наши отношения и сплотиться; только тогда мы сумеем устоять перед теми, кто хочет бросить нас палачам. В обители, поговорив с Зейтином, мы, возможно, поймем, что среди нас нет жестокого убийцы.

Заброшенную обитель мы искали очень долго, но наконец дошли к ней. Когда глаза привыкли к темноте, я разглядел деревянную облицовку стены и в щелку ставня, закрывающего крошечное окошко, увидел тень человека, который при свете свечи совершал или делал вид, что совершает намаз.

МЕНЯ НАЗЫВАЮТ ЗЕЙТИН

Что было правильнее – прервать намаз и открыть дверь или закончить молитву, заставляя пришедших ждать под дождем? Поняв, что они наблюдают за мной, я, не обращая на них внимания, завершил молитву. Когда я открыл дверь и увидел своих – Келебека, Лейлека и Кара, у меня вырвался крик радости. Я крепко обнял Келебека.

– Что с нами делают! – простонал я. – Чего они хотят от нас? За что убивают?

У них был испуганный вид. Даже в обители они старались держаться поближе друг к другу.

– Не бойтесь, – сказал я. – Здесь мы надежно спрятаны.

– Нам страшно, потому что среди нас может быть человек, которого стоит бояться, – сказал Кара.

– Да, я слышал об этом. От людей Главного охранника до художников дошли слухи, что убийцей Зарифа-эфенди и Эниште был один из нас, приложивших руку к известной книге.

Кара спросил, сколько рисунков я сделал для книги Эниште.

– Первым был сатана. Я нарисовал так, как его часто изображали в мастерских Аккойюнулу. Меддах разделял мои взгляды, поэтому я нарисовал ему двух бродячих дервишей. А потом предложил Эниште поместить их в книгу, я убедил его, что это будет справедливо.

– И все? – спросил Кара.

Он вынул рулон, и я сразу узнал рисунки, которые унес из кофейни во время нападения на нее. Я не спросил, каким образом рисунки оказались у них. Каждый из нас – я, Келебек и Лейлек – отбирали свои рисунки. В стороне остался лежать только рисунок лошади. Я понятия не имел, кто нарисовал эту лошадь.

– А это – не твоя работа? – сурово спросил Кара.

– Нет, я это не рисовал.

– А лошадь для книги Эниште?

– И для него не рисовал.

– Мастер Осман определил, что это твой стиль, – сказал Кара.

– У меня нет стиля, – возразил я. – Я говорю это не ради похвалы, что, мол, противостояю современным веяниям. И не для того, чтобы доказать свою невиновность. Для меня иметь свой стиль – это хуже, чем быть убийцей.

– Твои работы отличаются от работ старых мастеров и других художников, – сказал Кара. – Мы, – он показал на Лейлека, – будем искать в обители последний рисунок, украденный подлым убийцей Эниште. Ты видел тот последний рисунок?

– Это было нечто, чего не мог принять ни наш падишах, ни мы, художники, связанные со старыми мастерами, ни мусульмане, исповедующие нашу религию, – сказал я и умолк.

МЕНЯ НАЗОВУТ УБИЙЦЕЙ

Вы забыли обо мне, не так ли? Не буду таить хотя бы от вас, что я здесь.

Я так счастлив здесь! Мы сидим с братьями-художниками, утешаем друг друга, вспоминаем прошлое и думаем не о вражде, а о

красоте и прелести рисования. Мы сидим, ощущая наступление конца света, влюбленно глядя друг на друга влажными глазами, вспоминаем прекрасные дни, и кажется, в этот миг в нас есть некоторое сходство с гаремными женщинами.

Посреди этой идиллии они вдруг неожиданно набросились на меня. Мы, все четверо, не удержались на ногах и упали. Мы катались по полу, но это продолжалось недолго. Скоро я лежал на спине, а они оседлали меня.

Один сел мне на колени, другой – на правую руку.

Кара уселся на грудь и коленями прижал мои плечи.

Он вытащил что-то из-за пояса, это оказалась длинная игла с очень острым концом. Он приблизил ее к моему лицу, будто хотел проткнуть мне глаз.

– Восемьдесят лет назад, когда пал Герат, – сказал он, – великий мастер Бехзад понял, что все кончено, и гордо ослепил себя этой иглой, чтобы никто не заставил его рисовать по-новому. Бехзад ослепил себя и еще пятьдесят художников, подарив им, любимым рабам Аллаха, божественную тьму. Слепой Бехзад привез иглу из Герата в Тебриз, а потом шах Тахмасп подарил ее отцу нашего падишаха вместе с прославленной книгой «Шах-наме». Узнав, что падишах заказал свой портрет в манере европейских мастеров и что вы, его любимые дети, предали его, мастер Осман вчера ночью в помещении хранилища падишаха вонзил эту иглу в свои глаза так же, как когда-то Бехзад.

Кара угрожал ослепить меня, остальные старались отвести от моих глаз иглу.

Кара испугался, что у него отберут иглу и мы договоримся между собой. Началась борьба. Потом все произошло так быстро, что я поначалу ничего не понял: я почувствовал резкую боль в правом глазу; лоб у меня на мгновение онемел. И тут я увидел, как Кара решительно вонзает иглу мне в левый глаз. Я даже не шевельнулся, только почувствовал жжение. Все смотрели на мои глаза и на кончик иглы. Будто не верили в свершившееся. Когда наконец осознали, что со мной произошло, удерживающие меня руки ослабли.

Я начал кричать, я выл, но не от боли, а от ужаса.

Не знаю, долго ли я кричал. Я чувствовал, что мой крик приносит облегчение не только мне, но и им.

Я еще не ослеп. Я – слава Всевышнему! – еще мог видеть, как они в ужасе наблюдают за мной и как дрожат на потолке обитатели их тени.

– Оставьте меня, – кричал я, – оставьте!

– Рассказывай, – приказал Кара. – Рассказывай, как вы встретились с Зарифом-эфенди в тот вечер. Тогда мы тебя оставим. И я стал рассказывать:

– Бедный Зариф-эфенди встретился мне, когда я возвращался домой из кофейни. Он был встревожен, вид у него был несчастный. Сначала мне стало его жалко. Оставьте меня, у меня темнеет в глазах, я вам потом доскажу.

– Сразу не потемнеет, – нагло сказал Кара. – Можешь мне поверить, мастер Осман увидел лошадь с усеченными ноздрями после того, как проколол себе глаза.

– Зариф-эфенди сказал, что хочет со мной поговорить, сказал, что доверяет только мне.

Рассказывая, я жалел не Зарифа-эфенди, а себя.

– Если ты расскажешь все до того, как кровь прильет к глазам, ты утром сумеешь последний раз вдоволь насмотреться на мир, – сказал Кара. – Слышишь, дождь кончается.

– Я предложил Зарифу-эфенди вернуться в кофейню, но заметил, что эта мысль ему не понравилась, более того, он испугался. Тут я впервые понял, как сильно отделился от нас Зариф-эфенди, с которым мы работали вместе двадцать пять лет, со времен ученичества. Последние восемь-девять лет, с тех пор как он женился, я встречал его в мастерской, но толком даже не разговаривал с ним. Он сказал мне, что видел последний рисунок. Это очень большой грех. Никому из нас он не простится. Все мы будем гореть в аду. Он был очень напуган: сам того не ведая, он совершил большой грех.

– Что это за большой грех?

– Когда я задал ему этот же вопрос, он с изумлением посмотрел на меня: мол, сам прекрасно знаешь. Я тогда подумал, что наш товарищ по ученичеству сильно постарел. Он сказал, что Эниште в последнем рисунке слишком дерзко использовал перспективу. Все в этом рисунке сделано, как у европейцев, все изображено не так, как видит Аллах, а так, как видят наши глаза. Это один большой грех. Второй грех: халиф ислама, наш падишах, изображен одного размера с собакой. И третий грех: такого же размера изображен сатана, мало того, он изображен на рисунке весьма симпатичным. Но самое большое надругательство (что было неизбежно, раз уж рисунок делался в европейском стиле) – это изображение нашего падишаха: крупный портрет с подробно выписанным лицом, как делают идолопоклонники и христиане, не сумевшие преодолеть привычек идолопоклонников и вешающие на стены «портреты», чтобы поклоняться им. Зариф-эфенди знал это слово от Эниште и спра-

ведливо полагал, что с появлением портрета закончится мусульманский рисунок. Мы не пошли в кофейню, где, по его словам, хулят проповедника и нашу религию, мы ходили по улицам. Иногда он останавливался и спрашивал меня, словно просил помощи, правильно ли все это, правда ли, что все мы будем гореть в аду? С одной стороны, он раскаивался, с другой – я почувствовал это – сам не верил в то, что говорил. Он просто делал вид, что убивается.

– Ни один мусульманин не будет так убиваться, невольно совершив грех, – продолжал я. – Хороший мусульманин знает, что Аллах справедлив и всегда понимает намерения своего раба. Только дураки могут верить, что за съеденный случайно, по неведению кусок свинины можно попасть в ад. Истинный мусульманин помнит, что ад существует для устрашения других. Зариф-эфенди это и делал: хотел запугать меня. Скорее всего, по наущению Эниште, я это еще тогда понял. А теперь скажите мне правду, братья-художники, налились ли кровью мои глаза, теряют ли они цвет?

Они поднесли свечу к моему лицу и посмотрели внимательно и заботливо, как врачи.

– Нет, будто ничего и не было.

Неужели последним, что я увижу в мире, будут устремленные на меня глаза этих троих?

– Эниште окружил работу над книгой тайной, и Зариф-эфенди боялся совершить грех. Но чего бояться художнику с чистой совестью?

– Художник с чистой совестью сегодня может бояться многого, – резонно сказал Кара.

– Твой Эниште был убит, потому что боялся. Он утверждал, что заказанные им рисунки не противоречат нашей религии и Корану. Зариф-эфенди и твой Эниште очень походили друг на друга.

– И ты убил обоих, не так ли? – сказал Кара.

Мне показалось, что он сейчас ударит меня, но я понимал, что новоиспеченный муж красавицы Шекюре не имеет ничего против убийства Эниште. Нет, он не будет меня бить, а если и будет, что ж, мне все равно.

– Наш падишах в самом деле хотел, чтобы была создана книга в духе европейских мастеров, – сказал я упрямо. – И твой Эниште хотел сделать книгу, бросающую вызов всем. Чтобы возвеличиться. Он преклонялся перед европейскими мастерами, работы которых увидел во время путешествий; он подолгу рассказывал нам – да и тебе небось тоже – про эту чушь: перспектива, портрет – он слепо верил в это. По-моему, в том, что мы сделали, нет ничего

вредного и ничего такого, что не вписывалось бы в нашу религию. Он тоже это знал, но делал вид, будто создает опасную книгу, ему это очень нравилось. Выполнять такую опасную работу с разрешения падишаха было для него так же важно, как почитать работы европейских мастеров. Если бы мы делали рисунки, чтобы повесить на стену, это было бы грехом. Но ни в одном из рисунков, которые мы сделали для книги, не было отрицания религии, безбожия, ничего, что могло быть запрещено. Разве я не прав?

Они не знали, что ответить.

– Хватит об этом, – перебил меня Кара. – Расскажи, как ты убил Зарифа.

– Я совершил это, – я не мог произнести слово «убийство», – не только ради нас и собственного спасения, а ради блага всей мастерской. Зариф-эфенди угрожал выдать нас. Я предложил ему деньги. Мы пришли на пустырь к заброшенному колодцу...

Я понял, что дальше рассказать им не смогу, и дерзко заявил:

– Если бы вы были на моем месте, вы бы тоже подумали о благополучии остальных братьев-художников и сделали бы то же самое. После того как я отправил Зарифа-эфенди к ангелам Аллаха, – продолжил я задумчиво, – меня охватил страх. Поскольку я обагрив руки кровью из-за последнего рисунка, я должен был увидеть его. И я отправился к Эниште, который больше не приглашал нас работать к себе домой. Он вел себя со мной высокомерно и ничего мне не показал. Будто не было никакого рисунка, не из-за чего было убивать человека! Чтобы он не относился ко мне так презрительно и равнодушно, я признался, что это я убил и бросил в колодец Зарифа. Равнодушие его исчезло, но он продолжал пренебрежительно говорить со мной. Разве подобает отцу так унижать сына! Великий мастер Осман сердился на нас, сильно бил, но никогда не унижал. Мы совершили ошибку, что предали его.

Я улыбнулся своим братьям, слушавшим меня с вниманием, как слушают последние слова человека на смертном одре.

– Я убил Эниште по двум причинам: за то, что он заставил мастера Османа как обезьяну подражать европейцу. И еще за то, что я проявил слабость и спросил, есть ли у меня свой стиль.

– И что он сказал?

– Сказал, что есть, и для него это было не оскорбление, а похвала. Помню, что я подумал со стыдом: неужели это и для меня похвала? С одной стороны, понимаю, что стиль – это неблагородно, бесславно, а с другой – сатана подстрекает меня, я хочу, чтобы у меня был свой собственный стиль, мне это интересно.

– Ты отдашь последний рисунок? – спросил Кара.

Со свечой в руке, сопровождаемый собственной тенью, я пошел на кухню, там мы остановились, я и моя тень, вынули бумаги из чистого угла покрытого пылью шкафа и быстро вернулись. Кара на всякий случай шел за мной.

– Я рад, что еще раз увижу это, пока не ослеп, – сказал я с гордостью. – Я хочу, чтобы и вы увидели. Смотрите!

Я показал им последний рисунок, который взял в доме Эниште в тот день, когда убил его. Любопытство и страх – вот что было на их лицах. Я смотрел вместе с ними, и меня била дрожь. Кажется, у меня поднялась температура.

Эниште так распределил большие и маленькие изображения дерева, лошади, сатаны, смерти, собаки, женщин, которые мы рисовали в разных местах листа, что казалось, мы смотрим не в книгу, где покойный Зариф-эфенди нарисовал заставки и виньетки, а в окно, из которого открывается целый мир. В центре этого мира, там, где должен был находиться портрет падишаха, я с гордостью увидел свой портрет. К моему огорчению, сходство не было полным, хотя я трудился много дней, рисуя перед зеркалом, стирая и снова рисуя; я не мог справиться с волнением, глядя на этот рисунок, не столько оттого, что я помещен в центр вселенной, сколько оттого, что на этом портрете я выглядел глубокой, сложной и таинственной личностью. Это было дьявольское наваждение, я тут был ни при чем. Я хотел, чтобы братья-художники видели мое волнение, поняли и разделили его. Я был здесь и в то же время находился в центре вселенной, как падишах или король, что вызывало во мне одновременно и гордость, и смущение. Я постарался изобразить себя, как европейские художники, в мельчайших подробностях: от морщин на лице и складок на одежде, прыщиков и следов оспы до бороды и узора ткани.

На лицах моих старых друзей, рассматривающих рисунок, я увидел страх и восхищение, а еще – извечное для художников чувство зависти. Они возмущались мной, погрязшим в грехе, но и завидовали тоже.

– Глядя на этот рисунок ночами при свете свечи, – прервал я молчание, – я впервые почувствовал, что Аллах покинул меня, и понял: одиночество вынуждает меня водить дружбу только с сатаной. Если бы я действительно находился в центре вселенной – а когда я смотрел на рисунок, я страстно хотел этого, – я чувствовал бы себя еще более одиноким, несмотря на окружающие меня вещи, которые я люблю, мою женщину, красивую, как Шекюре, моих дру-

зей бродячих дервишей и красоту красного цвета, господствующего в рисунке. Я не боюсь, что другие будут мне поклоняться, так как я – яркая личность, более того, я хочу этого.

– Ты не раскаиваешься? – спросил Лейлек с видом человека, вышедшего из мечети после проповеди.

– Я чувствую себя сатаной, но не потому, что убил двух человек, а потому, что сделал такой портрет. Мне кажется, я убил тех двоих, чтобы суметь нарисовать такой портрет. Но одиночество меня пугает. Подражание европейским мастерам без овладения их мастерством превращает художника в подражателя, а я не хочу им быть. Вы, конечно, поняли, что я убил этих двоих, потому что на самом деле они хотели, чтобы в мастерской все продолжалось по-прежнему. Аллах, разумеется, тоже это понял.

– Но это принесет нам всем большие беды, – ужаснулся Келебек. Кара все еще смотрел на рисунок, я быстро схватил его за запястье, сжал со всей силой, впиваясь ногтями, и вывернул ему руку. Он выронил кинжал. Я поднял его.

– Вы не спасетесь от бед, сдав меня палачам, – сказал я и приблизился к лицу Кара, направляя острие кинжала ему в глаз. – Давай иглу.

Свободной рукой он достал иглу и отдал мне, я воткнул ее в пояс и заглянул в его ягнячьи глаза.

– Мне жаль Шекюре, у которой не оставалось другого выхода, кроме как выйти за тебя замуж. Если бы мне не пришлось убить Зарифа-эфенди, чтобы спасти вас всех, она вышла бы за меня и была бы счастлива. Я лучше вас всех понял фокусы европейских художников, о которых рассказывал ее отец. Поэтому слушайте меня внимательно: я понял, что нам, мастерам-художникам, желающим жить честно своим талантом, здесь нет места. Если мы примемся копировать европейских мастеров, как того хотел покойный Эниште и хочет падишах, нас остановят такие, как Зариф-эфенди и эрзурумцы, а не сделают этого они – найдется какой-нибудь трус из нашей среды и будет прав. В угоду сатане мы попытаемся пойти до конца, предадим наше прошлое и попробуем овладеть манерой европейцев, но нам вряд ли это удастся – вы видите, мне не хватило таланта и знаний, когда я делал собственное изображение. Мой портрет вышел примитивным, я не сумел изобразить себя похожим, я убедился – собственно, мы все это знаем, хотя и обидно, – что для изучения мастерства европейских художников требуются века. Если бы Эниште-эфенди завершил книгу и отправил ее в Венецию, тамошные художники и сам дож посмеялись бы над нашей работой и

на этом все бы кончилось. Они подумали бы, что османцы не желают больше быть османцами, и перестали бы бояться нас. Как здорово было бы, если бы мы спокойно продолжали идти по пути старых мастеров! Но никто: ни наш сиятельный падишах, ни удрученный отсутствием портрета Шекюре Кара-эфенди – не хочет этого. Остается подражать манере европейцев! А под копиями гордо ставить свои подписи. Старые мастера Герата, стараясь изображать вселенную такой, как ее видел Аллах, не ставили подписей, чтобы скрыть свою личность. Вы же будете ставить свои подписи, чтобы скрыть отсутствие у вас личности. Но есть еще один выход, может, вы уже знаете: индийский хан Акбар собирает самых талантливых художников мира, чтобы одарить их золотом и окружить любовью и почетом. Ясно, что не здесь, в Стамбуле, а в мастерской Агры мы завершим книгу к тысячелетию ислама.

Где-то вдалеке два раза весело пропел петух. Я подумал, что могу убить их всех кинжалом, но в эту минуту я любил их, моих товарищей детских лет.

Я прикрикнул на Келебека, который хотел было подняться, заставил его снова сесть. Выходя из обители, я обернулся в дверях и произнес пышную фразу, которую приготовил заранее:

– Мой уход из Стамбула будет похож на уход Ибн Шакира из Багдада от монгольских завоевателей.

– Тогда тебе надо идти не на восток, а на запад, – сказал завистливый Лейлек.

– Аллаху принадлежит и восток, и запад, – произнес я по-арабски любимую фразу покойного Эниште.

– Но восток на востоке, а запад – на западе, – вставил Кара.

– Художник не должен думать о востоке или западе, – заговорил Келебек. – Его дело – рисовать то, что идет из сердца.

– Очень верные слова, – согласился я. – Дай я обниму тебя. Я сделал два шага в его сторону, и тут Кара набросился на меня. В руке у меня был сверток с бельем и золотыми монетами, под мышкой – рулон с рисунками. Он попытался схватить меня за руку, в которой был кинжал, но споткнулся и, потеряв равновесие, неловко повис у меня на руке. Я укусил его за пальцы и стряхнул с себя. Он завыл от боли и упал. Я наступил ему на руку и прикрикнул на двух других, показывая кинжал:

– Сидите на месте!

Они сели. Я сунул острие кинжала в нос Кара. Из носа пошла кровь, из глаз, полных мольбы, покатались слезы.

– Ну-ка, скажи, я ослепну?

– Если Аллах доволен твоими рисунками, он, чтобы приблизить тебя к себе, пошлет тебе свою величественную тьму. Тогда ты будешь видеть не этот убогий мир, а великолепные картины, какие видит Он. Но если Он тобой недоволен, ты будешь видеть то, что видишь сейчас.

– Главные свои рисунки я сделаю в Индии. Я еще не нарисовал того, за что Аллах может осудить меня.

– Не очень-то надейся, что ты сбежишь от европейского стиля, – предупредил Кара. – Знаешь ли ты, что хан Акбар предлагает художникам подписывать работы? Португальские монахи-иезуиты давным-давно принесли в Индию европейский рисунок и стиль. Европейцы теперь повсюду.

– Желаящий остаться чистым всегда найдет место, куда сбежать, – возразил я.

– Ослепнуть и бежать в несуществующие страны, – съязвил Лейлек.

– Зачем тебе бежать куда-то? Оставайся с нами и спрячься здесь, – посоветовал Кара.

– Здесь всю жизнь будут копировать европейских мастеров, чтобы найти свой стиль, и никогда не найдут именно потому, что будут копировать европейцев.

– Другого ничего не остается, – прохрипел Кара.

Конечно, единственным его счастьем был не рисунок, а красавица Шекюре. Я вытащил кинжал из кровоточащего носа Кара, занес над его головой, как палач, потом отвел:

– Пожалуй, я тебя прощу ради детей Шекюре и ее счастья. Береги ее. Дай мне слово!

– Даю!

– Дарю тебя Шекюре, – сказал я великодушно.

Но рука моя почему-то с силой опустила кинжал на голову Кара.

В последний момент он увернулся, и удар пришелся в плечо. Я с ужасом смотрел на то, что помимо моей воли сделала моя рука, выдернул кинжал, и рана окрасилась чистой красной краской. Мне было страшно и стыдно. Но с другой стороны, если я ослепну уже будучи на корабле, за меня некому будет отомстить.

В мертвой тишине я вышел из обители. Корабль, который повезет меня к хану Акбару, отправится в путь после утреннего намаза, в это время из порта Кадырга к кораблю пойдет последняя лодка. Я бежал, а из глаз моих текли слезы.

У меня было мало времени, но я, поддавшись нашептываниям сатаны, подчинился желанию последний раз взглянуть на мастерс-

кую, в которой прошли двадцать пять лет моей жизни; мастерская находилась недалеко от порта.

Тяжелая дверь мастерской была закрыта. Ни у двери, ни наверху, в галерее, никого не было. Я успел только взглянуть на закрытое ставнем крохотное оконце наверху, из которого мы в годы ученичества, изнывая от скуки, рассматривали деревья, как кто-то окликнул меня.

У этого человека был неприятный пронзительный голос. Он сказал, что окровавленный кинжал с рукояткой, украшенной рубинами, принадлежит ему, кинжал украл его племянник Шевкет со своей матерью. Это говорит о том, что я—из людей Кара, которые ночью напали на дом и увели Шекюре. Он был вне себя от гнева и визгливым голосом прокричал мне, что ждет Кара у мастерской. В руках его странным красным отблеском сверкала длинная сабля, лицо было перекошено злобой и ненавистью, он был готов броситься на меня. Я хотел ему сказать, что он ошибается, но он уже занес надо мной саблю.

Сабля поднималась и опускалась, она рассекла мне руку, потом шею, а потом отсекла голову.

Мое бедное тело сделало два неуверенных шага, кинжал бестолково болтался в руке, из шеи фонтаном била кровь. Я рухнул на землю.

Я – ШЕКЮРЕ

Я провела бессонную ночь в доме дальнего родственника, где прятал нас Кара. После утреннего намаза я посмотрела на улицу сквозь ставни окошка в маленькой и Темной комнате и увидела то, что являлось ко мне в прежних счастливых снах: похожий на призрак человек, измученный войной и полученными ранами, идет ко мне знакомой походкой и в руке, как саблю, держит палку. Во сне я бросалась в объятия этого человека и тут же в слезах просыпалась. Но сейчас я поняла, что окровавленный человек на улице — это Кара, и у меня вырвался крик, который никогда не вырывался во сне.

Я побежала открывать дверь.

Лицо его опухло. Из носа шла кровь. На плече, ближе к шее, зияла рана. Рубашка в крови. Он чуть заметно улыбнулся мне.

— Входи, — сказала я.

— Зови детей, мы возвращаемся домой.

— У тебя не хватит сил добраться дотуда.

– Об этом не беспокойся, – сказал он. – Убийцей оказался Аджем Велиджан.

– Зейтин, – сказала я. – Ты убил его.

– Он сбежал в Индию на корабле. – Кара отвел взгляд: не сумел он довести дело до конца.

– Но как же ты пойдешь до дома? – спросила я. – Пусть тебе выведут лошадь.

Я почувствовала, что он может умереть, и мне стало жаль его. Не только потому, что он умрет, а потому, что он совсем не видел счастья.

Мы кое-как усадили его на лошадь.

Мы шли по улице с узлами в руках, и дети боялись смотреть на Кара. Кара же, покачиваясь на медленно ступающей лошади, рассказал им, как нашел подлого убийцу их деда и как сражался с ним. Я видела, что дети стали смотреть на него добрее, и молила за него Аллаха.

Когда мы добрались до нашего дома, Орхан радостно закричал: «Мы пришли домой!» Я поняла, что Азраил сжалится над нами, а Аллах даст нам время немного пожить.

Мы с трудом сняли Кара с лошади, все вместе отнесли его наверх и положили на постель в комнате отца. Хайрие нагрела воды. Мы отодрали прилипшую к телу окровавленную рубашку, сняли пояс, обувь, белье. Я обмыла его раны.

Услышав, что пришла Эстер, эта разносчица новостей, я спустилась вниз, на кухню.

Эстер была очень взволнована и, даже не обняв меня, стала рассказывать, что перед дверью мастерской нашли голову Зейтина, а также рисунок, подтверждающий его вину. Он собирался сбежать в Индию, но решил последний раз зайти в мастерскую.

Есть свидетели того, как, увидев Зейтина, Хасан поднял саблю и одним ударом отсек ему голову.

После ухода Эстер я сказала Хайрие, чтобы она не пускала детей наверх, а сама поднялась, заперла дверь, страстно обняла обнаженное тело Кара и осторожно и боязливо сделала ему то, о чем он меня просил в доме повешенного иудея в день убийства отца.

Веками персидские поэты уподобляли главную мужскую принадлежность тростниковому перу и без конца повторяли сравнение женского рта с чернильницей.

Я открою вам тайну: когда там, в комнате, где пахло смертью, я держала во рту эту самую принадлежность, я не испытывала никакого волнения, да пусть хоть вся вселенная пульсирует у меня во

рту; волнение охватывало меня, когда я слышала веселый щебет моих сыновей, которые возились в саду.

В миг удовольствия Кара издал вопль, который, боюсь, мог слышать весь квартал.

– Скажешь детям, что накладывала мазь на раны отца, – посоветовал он, тяжело дыша.

В течение двадцати шести лет после этого, вплоть до того утра, как он умер у колодца от разрыва сердца, мы с моим любимым мужем Кара поднимались в комнату после обеда, когда сквозь ставни туда проникало солнце, и «накладывали мазь на раны». Ночью я еще долгое время спала со своими ревнивыми сыновьями, потому что не хотела, чтобы они обижались на нового отца.

Мы, я и дети, были счастливы, но Кара не сумел стать счастливым. Раны на плече и шее сделали его калекой. Это не мешало жить, но было некрасиво, даже уродливо: правое плечо Кара было ниже левого, а шея странным образом Вывернута. Хотя иногда я слышала, как женщины, глядевшие на Кара издалека, говорили о его привлекательности. Сплетники судачили, что женщины вроде меня выходят замуж только за мужчин, на которых могут смотреть свысока.

Как бы там ни было, Кара все время грустил. Я видела, что его состояние не было связано с физическим недостатком, просто в его душе поселился джинн грусти, и потому он бывал озабоченным даже в моменты нашей счастливой близости. Чтобы успокоить этого джинна, он иногда пил вино, иногда рассматривал книги, главным образом рисунки в них, а иногда уходил к художникам, и они забавлялись с красивыми юношами.

Через четыре года умер наш падишах, и на трон взошел султан Мехмет, равнодушный к искусству рисования. Кара не утратил интереса к рисунку. Иногда он открывал какую-нибудь книгу из оставшихся от моего отца и подолгу рассматривал миниатюры, сделанные в Герате во времена Тимуридов; он смотрел, как Ширин, глядя на изображение Хосрова, влюбляется в него, и испытывал при этом чувство вины и печали, казалось, некая приятная тайна жила в его воспоминаниях.

На третий год восшествия на трон нового падишаха английский король прислал ему в подарок диковинные часы с музыкальным устройством. Несколько недель на холм во внутреннем саду дворца, который было видно со стороны Золотого Рога, поднимали части этих огромных часов, потом прибывшие с часами мастера соединяли шестеренки, различные детали, устанавливали скульпп-

туры. Собравшаяся на холмах Золотого Рога толпа пришла в восторг, когда в часах громко заиграла музыка и в такт ей стали двигаться скульптуры размером в человеческий рост; они двигались под звуки мелодии и поворачивались, будто были творением не рабов Аллаха, а его самого, и движения их казались осмысленными; часы к тому же били, как колокол, и бой был слышен всему Стамбулу.

Кара и Эстер, каждый в отдельности, сообщили мне, что часы, которыми так восхищались стамбульцы, включая самый простой и необразованный люд, внушили тревогу падишаху и служителям религии. Такие ходили по городу слухи. А через несколько лет следующий падишах, султан Ахмет, проснулся как-то ночью и, движимый волей Аллаха, схватил топор, спустился во внутренний сад и разбил часы, особенно старательно круша скульптуры. Говорили, что падишах увидел во сне светлый лик благословенного Пророка и тот сказал, что, если падишах позволит людям соревноваться с Аллахом в создании человеческих образов, то Аллах отвернется от него, и падишах сразу потянулся, к топору. Он продиктовал придворному историку запись об этом событии, каллиграфы написали книгу «Суть истории» и получили полные мешочки золота, но художники к работе над книгой привлечены не были.

Так увяла пышная роза рисунка, которая под влиянием персов цвела в Стамбуле сто лет. Борьба между стилем старых мастеров Герата и новыми методами европейских мастеров стала причиной ссор между художниками, породив нескончаемые сложности, и не дала никаких положительных результатов. Отныне не рисовали ни как на востоке, ни как на западе. Художники не возмущались и не бунтовали, они приняли все это с грустной покорностью, как старик молча принимает болезнь.

Книга моего отца, к сожалению, не была закончена. Рисунки, сделанные для нее, были переданы во дворец, и там ловкие и аккуратные библиотекари разбросали их по разным книгам и переплели вместе с другими рисунками, вышедшими из мастерской. Хасан сбежал из Стамбула и пропал, о нем не было никаких вестей. Но Шевкет и Орхан не забыли, что убийцу деда убил не Кара, а их дядя.

Мастер Осман умер через два года после того, как ослеп, вместо него Главным художником стал Лейлек. Келебек, талантом которого так восхищался мой покойный отец, последние годы жизни посвятил росписи ковров, тканей и шатров. Этой же работой занимались и молодые ученики мастерской. Никто не считал большой

потерей отказ от рисунка. Может быть, оттого, что никто не видел нарисованным собственное лицо.

Всю свою жизнь я втайне страстно мечтала о двух рисунках, но никогда никому об этом не рассказывала.

1. Я хотела, чтобы нарисовали меня. Но я знала, что это невозможно, потому что, даже увидев меня, ни один художник из мастерской падишаха все равно, к сожалению, не поверит, что женщина может быть красива, если ей не нарисовать глаза и губы, как у китайской красавицы. А если меня нарисуют в традиции старых мастеров Герата, как китайскую красавицу, то только те, кто меня знают, могут догадаться, что за лицом китайской красавицы скрывается мое лицо. Но те, кто будут после нас, даже если сообразят, что у меня не было китайских глаз, не смогут представить мое лицо таким, как оно есть. Сегодня, в старости, я утешаюсь моими сыновьями, но как бы я была счастлива, если бы у меня был мой портрет в молодости!

2. Я хотела бы, чтобы нарисовали рисунок счастья; об этом в одном из месневи¹ написал поэт Сары Назым из Рана². Я хорошо представляю, каким должен быть этот рисунок: мать с двумя детьми; младший пусть с улыбкой сосет большую грудь, а старший немножко ревнует, и глаза его, как и глаза матери, слегка подернуты поволокой. Я хотела бы, чтобы матерью на рисунке была я, а в небе надо мной – птица, она вроде бы летит и в то же время будто подвешена на века в неподвижности; пусть это будет сделано в стиле старых мастеров Герата, которые умели останавливать время. Я знаю, что это нелегко.

Мой сын Орхан, глупый настолько, что хочет все постичь своим умом, много лет внушает мне, что придуманный мною рисунок счастья не может быть выполнен никогда, потому что мастера Герата умели останавливать время, но никогда не нарисуют меня такой, какая я есть, а европейские мастера, которые только и делают, что рисуют мать с младенцем на руках, не умеют останавливать время.

Возможно, он прав. Человек ведь ищет счастье не в книге, а в жизни. Художники это знают, только нарисовать не могут. Они заменяют реальное счастье в жизни на счастье нарисованное.

Всю эту историю, которую невозможно нарисовать, я рассказала моему сыну Орхану, чтобы он записал ее.

1. Месневи – стихотворное произведение, состоящее из рифмованных двустиший.

2. Вымышленное автором лицо (ассоциация: Назым Хикмет Ран, 1902–1963).

Я без смущения отдала ему письма Хасана и Кара и расплывшийся рисунок лошадей, найденный при убитом Зарифе-эфенди. Мой Орхан – нервный, неуживчивый и несчастливый; он совсем не боится быть несправедливым в оценках. Поэтому не верьте, если он опишет Кара более растерянным, а Шевкета более злым, чем они есть на самом деле; нашу жизнь – более трудной, а меня – более красивой и более своенравной. Ведь чего только не выдумают, чтобы история была интересной и мы в нее поверили.

1990-1992, 1994-1998